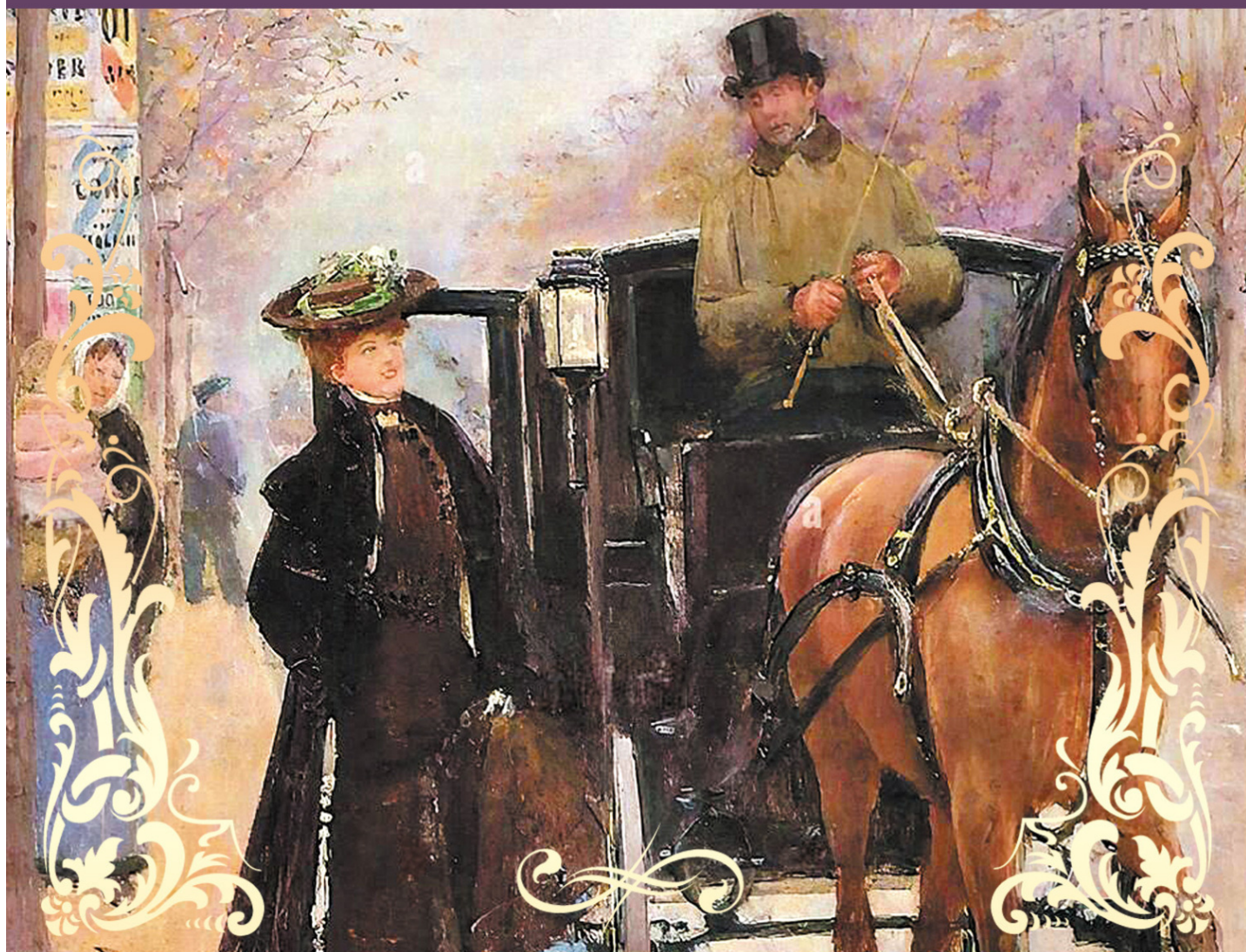


100 великих романов

Марсель ПРУСТ

ПЛЕННИЦА



В поисках утраченного времени

Марсель Пруст

Пленница

«ВЕЧЕ»

1925

УДК 821.133.1-3
ББК 84(4Фр)

Пруст М.

Пленница / М. Пруст — «ВЕЧЕ», 1925 — (В поисках утраченного времени)

ISBN 978-5-4484-3113-5

Главный герой этой книги – молодой человек, принадлежащий к высшему обществу, – анализирует свои отношения с возлюбленной – Альбертиной. Отношения – это компромисс. Каждая из сторон вынуждена от чего-то отказываться, сознательно ограничивать свою свободу. Однако в данном случае ограничения распределены не очень справедливо. Альбертине приходится приносить гораздо больше жертв, и это тяготит ее, она становится пленницей. Роман «Пленница» известного писателя Марселя Пруста (1871–1922) – это мастерски нарисованный портрет французского высшего света, являющийся частью знаменитого цикла «В поисках утраченного времени». Предыдущие книги цикла ранее опубликованы в этой же серии.

УДК 821.133.1-3

ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-4484-3113-5

© Пруст М., 1925

© ВЕЧЕ, 1925

Содержание

Глава первая. Совместная жизнь с Альбертиной	6
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Марсель Пруст Пленница

© ООО «Издательство «Вече», 2023

* * *

Глава первая. Совместная жизнь с Альбертиной

С самого утра, когда голова моя была еще обращена к стене, и раньше, чем я замечал, какого тона световая полоска над большими оконными занавесками, я знал уже, какая сегодня погода. Первые уличные шумы сообщали мне о ней, доходя до меня то заглушенными и отклоненными сыростью, то вибрирующими, как стрелы, в звонком и пустом воздухе просторного, морозного и ясного утра: по грохотанию первого трамвая я различал, простужен ли он дождем или весело мчится в лазурь. Может быть, шумы эти в свою очередь предварялись своего рода излучением, более стремительным и глубоко проникающим, которой, проскользнув в мой сон, разливало в нем печаль, предвестницу снега, или побуждало некое крохотное переменчивое созданище внутри меня так громко распевать несчетные гимны во славу солнца, что еще во сне я начинал улыбаться с закрытыми глазами, предвкушая ослепительный свет, и в заключение просыпался, совсем оглушенный музыкой. Впрочем, в этот период всю внешнюю жизнь я воспринимал главным образом из своей комнаты. Блок, я знаю, рассказывал, как, придя однажды вечером навестить меня, он слышал словно обрывки разговора; так как моя мать была в Комбре и Блок никого не заставал в моей комнате, то он заключил, что я разговариваю сам с собой. Узнав гораздо позже, что в то время со мной жила Альбертина, и сообразив, что я заботливо прятал ее от всех, он объявил, будто понял наконец, почему в этот период моей жизни я наотрез отказывался выходить из дому. Он ошибся, причем его ошибка вполне извинительна, потому что действительность невозможно предусмотреть сполна, даже если заблуждение неизбежно. Лица, узнающие какую-нибудь точную подробность о нашей жизни, тотчас выводят из нее следствия, которых нет на самом деле, и усматривают во вновь открытом факте объяснение вещей, как раз не имеющих к нему никакого отношения.

Когда я думаю теперь о том, как подруга моя по нашему возвращении из Бальбека поселилась в Париже под одной кровлей со мной, как она отказалась от мысли совершить поездку по морю, как занимала комнату в двадцати шагах от моей, в конце коридора, в ковровом кабинете моего отца, и как каждый вечер, в поздний час, прощаясь со мной, вкладывала мне в рот язык, словно хлеб насущный, словно живительную пищу, обладающую почти священными качествами каждой плоти, которую страдания, перенесенные нами из-за нее, в заключение наделяют своего рода духовной сладостью, – то с этим прежде всего напрашивается на сравнение не та ночь, которую разрешил мне провести в казарме князь Бородинский в знак своей особенной милости, облегчившей в общем лишь весьма мимолетное мое недомогание, но та, когда мой отец велел маме лечь спать в кровати рядом со мной. Так жизнь, если ей лишний раз суждено избавить нас от страдания, с виду неизбежного, совершает это избавление в различных условиях, иногда настолько противоположных, что кажется почти святотатством констатировать тожество дарованной благодати!

Когда Альбертина узнавала от Франсуазы, что в темноте моей комнаты со спущенными еще занавесками я не сплю, она без стеснения плескалась и возилась, умываясь в своей туалетной. В таких случаях я часто, не дожидаясь более позднего часа, шел в смежную с этой туалетной ванную, вид которой был так приятен. В прежние времена директора театров тратили сотни тысяч франков на украшение настоящими изумрудами трона в пьесе, где дива играла роль императрицы. Русские балеты открыли нам, что простая игра разноцветных лучей, направленных куда следует, расточает драгоценности столь же пышные и более разнообразные. Эти невещественные декорации не являются, однако, столь привлекательными, как декорация, которой солнце в восемь часов утра заменяет ту обстановку, что мы привыкли там видеть, вставая с постели только в полдень. Чтобы нельзя было заглядывать к нам со двора, окна обеих наших умывальных были не гладкие, но изборозжденные искусственным старомодным инеем. Солнце вдруг желтило этот стеклянный муслин, золотило его и, тихонько пробуждая во мне

прежнего юношу, давно уже усыпленного привычкой, пьянило меня воспоминаниями, создавая иллюзию, будто я нахожусь на лоне природы перед золотистой листвой, в которой распевает даже пташка. Ибо я слышал, как Альбертина без устали насвистывала:

Горести наши шалуни,
Глупец, кто слушает их.

Я слишком любил Альбертину, чтобы весело не улыбнуться при этом проявлении ее дурного музыкального вкуса. Песенка эта прошлым летом приводила и восторг г-жу Бонтан; когда же она узнала вскоре, что попала в просак, то стала просить Альбертину, если у нее собирались гости, спеть о том, как ручьи:

от горя помутились,
Разлуки песнь журча;

в свою очередь и эта ария обратилась в «затасканный мотив Массне, которым моя девочка прожужжала всем уши».

Проходило облако, солнце скрывалось, и я видел, как гаснет и снова делается серой целомудренная и густая стеклянная завеса.

Перегородки, разделявшие две наших туалетных (туалетная Альбертины, совершенно одинаковая с моей, была ванной, которой мама, имевшая другую ванну с противоположной части квартиры, никогда не пользовалась, чтобы не беспокоить меня шумом), были такие тонкие, что мы могли переговариваться, умываясь каждый у себя, могли вести беседу, прерываемую только плеском воды, в той атмосфере интимности, которая так часто создается ограниченностью помещения и близостью комнат, но в Париже встречается очень редко.

В другие дни я оставался в постели, предаваясь мечтам сколько мне хотелось, ибо было отдано приказание никогда не входить в мою комнату, пока я не позвоню, что, благодаря неудобно подвешенной над кроватью груше электрического звонка, требовало столько времени, что часто, устав разыскивать ее и довольный одиночеством, я на несколько мгновений снова почти засыпал. Нельзя сказать, чтобы я был совершенно равнодушен к пребыванию у нас Альбертины. Ее разлука с подругами избавляла мое сердце от новых терзаний. Она держала его в состоянии покоя, как бы в неподвижности, которые помогли бы ему излечиться. Но в конечном итоге это спокойствие, доставляемое мне моей подругой, было скорее прекращением страдания, чем радостью. Не то чтобы оно препятствовало мне наслаждаться многочисленными радостями, которых лишила меня слишком жгучая боль, но радостями этими я не только не был обязан Альбертине, которую к тому же не находил больше хорошенькой и с которой мне было скучно, которую, как я отчетливо ощущал, я не любил, а, напротив, я ими наслаждался, когда Альбертины не было возле меня. Вот почему, начиная свой день, я не приглашал ее к себе сразу же, особенно когда бывала хорошая погода. В течение нескольких минут, зная, что это принесет мне больше удовольствия, чем общество Альбертины, я оставался с глазу на глаз с упомянутым выше обитавшим во мне крохотным созданием, песнями приветствовавшим солнце. Из всех «я», составляющих нашу индивидуальность, самыми существенными для нас являются далеко не самые явные. Когда болезнь положит их в конце концов, одно за другим, на обе лопатки, во мне останутся еще два или три таких персонажа, обладающих большей жизнеспособностью, чем прочие, прежде всего некий философ, который бывает счастлив, лишь когда открывает между двумя произведениями, между двумя ощущениями что-нибудь общее. Но последним из них, — я спрашивал себя по временам, — уж не явится ли человек, очень похожий на того капуцина, которого выставлял у себя на витрине комбрейский оптик для предсказания погоды и который, снимая капюшон, как только показы-

валось солнце, снова надевал его, когда собирался дождь. Эгоизм этого человечка мне хорошо известен; я могу задыхаться от приступов астмы, которую способно успокоить одно только наступление дождливой погоды, ему нет до этого никакого дела, при первых каплях дождя, с таким нетерпением ожидаемых мной, у него пропадает вся веселость, настроение портится, и он насовывает капюшон себе на нос. Зато я уверен, что во время моей агонии, когда все мои другие «я» будут уже мертвыми, если блеснет луч солнца, меж тем как я буду испускать последний вздох, этот барометрический человечек почувствует себя как нельзя лучше, сдернет свой капюшон и запоет: «Ах, наконец-то погода хорошая!»

Я звонил Франсуазе. Раскрывал «Фигаро». Я искал там, и постоянно убеждался в ее отсутствии, одну статью, как я называл ее, посланную мной в эту газету и являвшуюся не чем иным, как недавно найденной мной и немного подправленной страницей, которую я написал когда-то в экипаже доктора Перспье, наблюдая мартенвильские колокольни. Потом я читал мамино письмо. Мама находила странным, ее шокировало, что со мной живет барышня, притом совершенно одна. На первых порах, в день моего отъезда из Бальбека, матушка, видя меня таким несчастным и беспокоясь, как бы со мной чего не случилось, если я останусь один, может быть, даже обрадовалась, когда узнала, что Альбертина едет с нами, и увидела, как на поезд узкоколейки рядом с нашими чемоданами (подле которых я проплакал в бальбекском отеле всю ночь) погрузили чемоданы Альбертины, узкие и черные, по форме своей напомнившие мне гробы и относительно которых я был в неведении, жизнь или смерть принесут они в наш дом. Однако я даже не задавался этим вопросом, настолько в то солнечное утро, после ужаса остаться в Бальбеке, я рад был увезти с собой Альбертину. Но если сначала матушка не противилась этому проекту (разговаривая с моей подругой очень любезно, как мать, которая признательна молоденькой любовнице, самоотверженно ухаживающей за ее сыном, только что получившим тяжелую рану), то она стала относиться к нему враждебно после того, как он был осуществлен слишком уже полно, и пребывание у нас молодой девушки затянулось, притом в отсутствие моих родителей. Впрочем, я не могу сказать, чтобы матушка когда-нибудь выразила мне свою враждебность открыто. Как в те времена, когда она перестала упрекать меня в моей нервности, в моей лени, не находя в себе для этого смелости, так и теперь она все не решалась, – чего я тогда, может быть, не разглядел хорошенько или не хотел разглядеть, – своими замечаниями относительно девушки, с которой, по моим заявлениям, я собирался обручиться, омрачить мою жизнь, уменьшить со временем мою преданность будущей жене, посеять, может быть, во мне, когда ее самой больше не будет в жизни, угрызения совести от мысли, что моя женитьба на Альбертине доставила ей огорчение. Мама предпочитала делать вид, будто она одобряет мой выбор, так как чувствовала, что не может меня разубедить. Но все, кто видел ее в то время, говорили мне, что к печали по умершей матери у нее прибавилось выражение постоянной озабоченности. От этого напряжения ума, от этой внутренней борьбы у мамы пылали виски, и она то и дело открывала окна, чтобы освежиться. Но она все не принимала никакого решения из боязни «повлиять» на меня в дурном смысле и испортить то, что она считала моим счастьем. Она не способна была даже найти в себе решимость помешать мне временно поместить Альбертину в нашем доме. Она не хотела прослыть более строгой, чем г-жа Бонтан, которой это касалось прежде всего и которая не находила в поведении своей племянницы ничего неприличного, немало удивляя тем мою матушку. Во всяком случае, она сожалела, что ей пришлось оставить меня вдвоем с Альбертиной, благодаря отъезду как раз в этот момент в Комбре, где она могла задержаться (и действительно задержалась) на долгие месяцы, в течение которых моя двоюродная бабушка непрестанно, днем и ночью, нуждалась в ее услугах. Ее заботы были сильно облегчены добротой и преданностью Леграндена, который, не отступая ни перед какими затруднениями, откладывал с недели на неделю свое возвращение в Париж, не будучи даже хорошо знаком с моей двоюродной бабушкой, сначала просто потому, что она была подругой его матери, а потом – почувствовав, что обреченная больная любит его заботы и

не может обойтись без него. Снобизм – тяжелая душевная болезнь, но местная, не повреждающая всей души целиком. Сам я, однако, в противоположность маме, был очень доволен ее переездом в Комбре, так как (не решаясь попросить Альбертину молчать об этом) опасался, как бы, оставаясь с нами, мама не открыла дружеских отношений Альбертины и м-ль Вентейль. Эти отношения показались бы матушке безусловным препятствием не только для женитьбы, о которой она, впрочем, просила меня не говорить еще определенно моей подруге и мысль о которой делалась мне все более и более невыносимой, но даже и для самого кратковременного пребывания Альбертины в нашем доме. За исключением этого серьезного обстоятельства, о котором она ничего не знала, мама, – с одной стороны, вследствие благотворного и эмансипирующего подражания бабушке, восторженной поклоннице Жорж Санд, утверждавшей, что добродетель заключается в благородстве сердца, а, с другой, поддавшись моему тлетворному влиянию, – стала снисходительна к женщинам, поведение которых она бы строго осудила в прежнее время, да даже и теперь, если бы они принадлежали к числу ее парижских или комбрейских друзей буржуазного круга, – стала, повторяю, снисходительна к женщинам, великодушные которых я ей расхваливал и которым она многое прощала, потому что они любили меня много. Несмотря на все это и даже независимо от вопроса о приличиях, мне кажется, Альбертина не ужилась бы с мамой, усвоившей в Комбре от тети Леонии и от всех своих родных привычку к порядку, о котором подруга моя не имела самого элементарного понятия.

Она ни за что бы не закрыла двери и в то же время без всякого стеснения вошла бы, если бы дверь была открыта, как сделала бы это собака или кошка. Немного стесняющая прелесть ее происходила таким образом отчасти оттого, что она находилась в доме не столько на положении молодой барышни, сколько на положении домашнего животного, которое входит в комнату и выходит из нее, которое оказывается везде, где его не ожидают, которое укладывалось, – и это приносило мне глубочайший покой, – на моей кровати рядом со мной, устраивало себе там местечко, где лежало, не шевелясь и вовсе не стесняя меня, как стесняла бы женщина. Однако в конце концов она приспособилась к часам моего сна и не только не делала попыток войти в мою комнату, но и не шумела, пока не раздавался мой звонок. Эти правила были ей внушены Франсуазой.

Франсуаза была из числа тех комбрейских слуг, которые умеют ценить своего господина и внимательно следят за тем, чтобы ему полностью был оказан подобающий, на их взгляд, почет. Когда кто-нибудь из посторонних давал Франсуазе на чай пополам с судомойкой, то не успевал гость вручить свою монету, как Франсуаза с поразительной быстротой, сдержанностью и энергией преподавала урок судомойке, и та приходила благодарить не вполголоса, а открыто, во всеуслышание, как это подобало, согласно предписаниям Франсуазы. Комбрейский кюре не блистал талантами, но и он умел поступать как полагается. Под его руководством дочка родственников-протестантов г-жи Сазра перешла в католичество, и семья девушки продолжала относиться к нему как нельзя лучше: вопрос шел о браке с одним дворянином из Мезеглиза. Родители молодого человека обратились для осведомления с довольно пренебрежительным письмом, в котором говорили свысока о протестантском происхождении невесты. Комбрейский кюре ответил таким тоном, что дворянин из Мезеглиза, поверженный в прах и уничтоженный, написал совсем иное письмо, в котором добивался как величайшей милости сочетания брачными узами с молодой девушкой.

Со стороны Франсуазы не было заслугой внушить Альбертине уважение к моему сну. Она была насквозь пропитана традициями. По хранимому ею молчанию или по резкому ответу на предложение войти ко мне и попросить у меня чего-нибудь, с которым невиннейшим образом обращалась к ней Альбертина, та с крайним изумлением поняла, что находится в странном мире, с неведомыми ей обычаями, управляемом законами, о нарушении которых нечего и помышлять. Поверхностное знакомство с этим своеобразным миром она получила уже в Баль-

беке, а в Париже не делала даже попыток к сопротивлению и каждое утро терпеливо ждала моего звонка; только тогда она решалась шуметь.

Уроки, преподанные ей Франсуазой, пошли на пользу и самой нашей старой служанке, которая мало-помалу успокоилась и перестала сокрушаться о промахе, совершенном ею при отъезде из Бальбека. Дело в том, что, садясь уже в трамвай, она спохватилась, что забыла попрощаться с экономкой гостиницы, усатой особой, наблюдавшей за уборкой помещений, которая была едва знакома с Франсуазой, но обращалась с ней сравнительно учтиво. Франсуаза хотела во что бы то ни стало ехать обратно, сойти с трамвая, вернуться в гостиницу, попрощаться с экономкой и отправиться в путь только на другой день. Благоразумие и особенно внезапно вспыхнувшее во мне отвращение к Бальбеку помешали мне оказать ей эту любезность, что дурно повлияло на Франсуазу, повергло ее в болезненное лихорадочное состояние, которое, несмотря на перемену воздуха, продолжалось у нее и в Париже. Ведь, согласно кодексу Франсуазы, наглядно выраженному барельефами Сент-Андре-де-Шан, желать смерти врагу и даже умертвить его не возбраняется, но ужасно не сделать того, что полагается, проявить неучтивость, вести себя грубой мужичкой и не попрощаться перед отъездом с экономкой гостиницы. Всю дорогу воспоминание о невежливости по отношению к этой женщине поминутно всплывало у Франсуазы и окрашивало ее щеки румянцем, способным внушить тревогу. Может быть, даже ее отказ прикоснуться к питью и еде до самого Парижа объяснялся не столько желанием наказать нас, сколько тем, что это неприятное воспоминание (у каждого общественного класса своя патология) ложилось ей «камнем» «на желудок».

Одной из причин, побуждавших маму посылать мне ежедневно по письму, неизменно содержавшему какую-нибудь цитату из госпожи де Севинье, было воспоминание о бабушке. Мама писала мне: «Г-жа Сазра дала нам один из тех скромных завтраков, секретом которых владеет она одна и которые, как сказала бы твоя бедная бабушка, цитируя госпожу де Севинье, уводят нас из одиночества, не перенося, однако, в общество». В первых своих ответах я имел глупость написать маме: «По этим цитатам твоя матушка сразу бы узнала тебя». На мое замечание я через три дня получил следующий ответ: «Бедный сынок, если ты хочешь говорить со мной о *моей матушке*, то очень некстати ссылаешься на госпожу де Севинье. Она бы ответила тебе, как ответила г-же де Гриньян: “Значит, она была для вас чужой? А я-то считала вас родственниками”».

Тем временем я слышал шаги моей гостьи, выходявшей из своей комнаты или туда возвращавшейся. Я звонил, потому что был уже час, когда за Альбертиной собиралась зайти Андре вместе с шофером, другом Мореля, который перешел ко мне на службу от Вердюренов. Мне случалось говорить Альбертине об отдаленной возможности нашего брака; но никогда я не делал ей официального предложения; сама же она, когда я говорил ей: «Не знаю, но это будет, пожалуй, возможно», из скромности покачивала головой с грустной улыбкой, говоря: «нет, не будет», что означало: «я слишком бедная». И вот, все время повторяя: «это весьма и весьма вероятно», когда речь заходила о проектах устройства будущего, я в настоящее время делал все, чтобы развлечь ее, сделать ей жизнь приятной, бессознательно стремясь, быть может, внушить ей таким образом желание выйти за меня замуж. Сама она смеялась над всей этой роскошью. «Вот вытаращит глаза мать Андре, увидя, что я стала такой же богатой дамой, как и она, то есть дамой, у которой есть *лошади, экипажи, картины*. Как? Разве я вам не рассказывала, что она любит так говорить? О, это тип! Больше всего дивлюсь я тому, что она возвышает картины до уровня лошадей и экипажей». Читатель увидит впоследствии, что, несмотря на оставшуюся привычку говорить пошлости, Альбертина необыкновенно развилась в умственном отношении, но это мне было совершенно безразлично: высокие качества ума моих приятельниц никогда меня не интересовали, и если мне случалось их отметить той или другой из них, я делал это только из вежливости. Один лишь курьезный ум Селесты, пожалуй, мне нравился. Я невольно улыбался в течение нескольких минут, когда, например, пользуясь тем,

что Альбертины у меня нет, она обращалась ко мне с такими словами: «Небесное божество, возлежащее на кровати!» Я говорил: «Послушайте, Селеста, почему же *небесное божество?*» — «О, если вы думаете, что у вас есть что-нибудь общее с людьми, странствующими по нашей презренной земле, то вы очень ошибаетесь!» — «Но почему же возлежащее на кровати, вы ведь видите, что я просто лежу». — «Вы никогда не лежите. Ну разве видано было, чтобы кто-нибудь так лежал? Вы явились сюда возлечь. Ваша белоснежная пижама и движение вашей шеи придают вам в эту минуту сходство с голубем».

Альбертина, даже говоря глупости, выражалась теперь совсем иначе, чем та молоденькая барышня, которой она была всего только несколько лет назад в Бальбеке. Она способна была даже заявить по поводу какого-нибудь политического события, которого она не одобряла: «Я нахожу это чудовищным». И, помнится, именно в это время она научилась говорить, показывая, что находит какую-нибудь книгу дурно написанной: «Интересно, но, право же, *точно помелом написано*».

Запрещение входить ко мне прежде, чем я позвоню, очень забавляло ее. Так как она усвоила семейную нашу привычку цитировать и пользовалась для этой цели пьесами, которые играла в монастыре и которые, как она узнала, я любил, то всегда сравнивала меня с Артаксерксом:

Et la mort est le prix de tout audacieux
Qui sans être appelé se présente à leurs yeux
.....
Rien ne met à l'abri de cet ordre fatal
Ni le rang, ni le sexe, et le crime est égal.
Moi même...
Je suis a cette loi comme une antre soumise;
Et sans le prévenir il faut pour lui parler
Qu'il me cherehe ou de moins qu'il me fasse appeler.

Физически она тоже изменилась. Ее продолговатые голубые глаза не сохранили прежней формы — они еще более вытянулись; цвет их остался, правда, прежним, но вещество как будто растаяло и стало жидким. Настолько, что когда она опускала веки, то казалось, будто заведывают окна с видом на море. Должно быть, эту ее черту я больше всего запоминал каждую ночь, расставаясь с нею. Потому что каждое утро меня долгое время неизменно повергали в изумление ее вьющиеся волосы, как нечто новое, никогда мной невиданное. А между тем над улыбающимся взором молодой девушки есть ли что-либо прекраснее этого волнистого венка из черных фиалок? Улыбка сулит нам дружбу; но лоснящиеся завитки пышных волос более родственны плоти; представляясь транспонировкой ее в струйки, они сильнее возбуждают желание.

Едва войдя в мою комнату, Альбертина прыгала на постель и давала иногда определение особенностям моего ума; в искреннем порыве она клялась, что скорее умрет, чем покинет меня: это бывало в дни, когда я успевал побриться до ее прихода. Она была из числа тех женщин, которые не умеют разбираться в причинах своих ощущений. Удовольствие, доставляемое им свежим цветом лица, они объясняют душевными качествами человека, открывающего им перспективы счастья, которое способно, впрочем, сильно пойти на убыль и стать менее насущным по мере того, как у этого человека отрастает борода.

Я спрашивал ее, куда она сегодня собирается.

— Кажется, Андре хочет свезти меня в Бютт-Шомон, которого я не знаю.

Конечно, мне было не под силу угадать, кроется ли под этими ее словами какая-нибудь ложь. Впрочем, я питал доверие к Андре и не сомневался, что она назовет мне все места, которые собиралась посетить с Альбертиной.

В Бальбеке, почувствовав себя очень утомленным Альбертиной, я намеревался обратиться к Андре с лживыми уверениями: «Милая Андре, о если бы мне довелось встретиться с вами! Вы – та женщина, которую я бы полюбил. Но теперь сердце мое пленено другою. Все же нам хорошо бы видеться почаще, потому что моя любовь к другой доставляет мне много огорчений, и вы поможете мне утешиться». И вот эти самые лживые слова стали правдой через какие-нибудь три недели. Может быть, Андре думала в Париже, что в действительности это ложь и что я люблю ее, как она, вероятно, подумала бы в Бальбеке. Ведь истина до такой степени меняется для нас, что другие с трудом могут узнать ее в наших словах. И так как я знал, что она расскажет мне все, что они с Альбертиной будут делать, то попросил ее, и она дала согласие, заезжать за Альбертиной почти каждый день. При этом условии я мог спокойно оставаться дома.

Обаяние, которым пользовалась Андре как девушка из числа бальбекской «ватаги», давало мне уверенность, что она добьется от Альбертины всего, чего я пожелаю. Я бы в самом деле мог теперь совершенно искренно сказать ей, что она способна принести мне спокойствие.

С другой стороны, мой выбор Андре (которая находилась в Париже, отказавшись от своего намерения возвратиться в Бальбек) в руководительницы Альбертины объяснялся тем, что Альбертина рассказала мне о расположении ко мне ее подруги в Бальбеке в то время, когда я, напротив, боялся наскучить ей, и если бы я знал об этом тогда, я полюбил бы, пожалуй, но не Альбертину, а Андре.

«Как, вы этого не знали? – сказала мне Альбертина. – А мы столько подтрунивали над ней по этому поводу. Впрочем, вы не заметили даже, как она стала перенимать вашу манеру говорить, рассуждать. Особенно после встреч с вами она прямо поражала нас. Ей совсем не нужно было говорить, что она с вами виделась. Когда она приходила, с первой же секунды ясно было, является ли она со свидания с вами. Мы переглядывались между собой и смеялись. Она бывала похожа на трубочиста, который пожелал бы сделать вид, что он не трубочист. А сам весь черный. Мельнику нет надобности говорить, что он мельник, всякий видит муку, которой он покрыт; на нем остались следы мешков, которые он таскал. То же самое Андре: она изгибала брови совсем как вы, и потом ее длинная шея; словом, не могу даже вам описать. Когда я беру книгу, которая находилась в вашей комнате, я это читаю, не раскрывая ее, сразу можно узнать, что она от вас, потому что она хранит запах ваших гадких курений. Это пустяки, но пустяки, в сущности, очень милые. Каждый раз, когда кто-нибудь говорил о вас любезно, превозносил ваши таланты, Андре бывала в восторге».

И все же, желая освободиться от мысли, что тут что-нибудь подстроено без моего ведома, я советовал пожертвовать на сегодня Бютт-Шомоном и ехать лучше в Сен-Клу или в другое место.

Я это делал совсем не потому, что сколько-нибудь любил Альбертину. Любовь является, может быть, лишь продолжением волнения, которое в результате какого-нибудь сильного впечатления всколыхнуло душу. Вся душа моя была потрясена, когда Альбертина сказала мне в Бальбеке о м-ль Вентейль, но теперь волнение утихло. Я не любил больше Альбертины, потому что во мне не осталось и следа от вылеченного теперь страдания, которое я испытал в трамвае возле Бальбека, узнав, какова была молодость Альбертины с ее возможными посещениями Монжувена. Я слишком долго думал обо всем этом, все это прошло. Но по временам некоторые обороты речи Альбертины, – сам не знаю почему, – внушали мне предположение, что в течение такой короткой еще своей жизни она, должно быть, выслушала много комплиментов, признаний и принимала их с удовольствием, почти со сладострастием. Так, она говорила по самым разнообразным поводам: «Правда? В самом деле, правда?» Конечно, если бы

она сказала подобно, например, Одетте: «Сущая правда эта грубая ложь!» – я бы несколько не был обеспокоен, потому что комизм выражения объяснялся бы тупостью и банальностью женского ума. Но своим вопросительным видом: «Правда?» – она производила с одной стороны странное впечатление женщины, которая не может разобраться самостоятельно и обращается к вашему свидетельству, как если бы она не обладала теми способностями, что есть у вас (ей говорили: «Вот уже час как мы вышли из дому» или: «Идет дождь», а она спрашивала: «Правда?»). К несчастью, с другой стороны этот недостаток способности разбираться самостоятельно во внешних явлениях едва ли мог быть подлинной причиной ее «Правда? В самом деле, правда?» Казалось, скорее, что слова эти со времени ее ранней зрелости являлись ответами на: «Вы знаете, я никогда не встречал такой хорошенькой женщины, как вы» или: «Вы знаете, я сгораю от любви к вам, я совсем потерял голову». На подобные утверждения и отвечали с кокетливо соглашающейся скромностью эти «Правда? В самом деле, правда?» – которые служили Альбертине при разговорах со мной лишь вопросительными ответами на утверждения в таком роде: «Вы спали больше часа». – «Правда?»

Не чувствуя себя ни капельки влюбленным в Альбертину, не находя никакого удовольствия в проводимых с нею минутах, я все же был озабочен ее времяпрепровождением; конечно, я убежал из Бальбека для приобретения уверенности, что впредь она не будет видаться с теми особами, мысль о которых до такой степени наполняла меня страхом, как бы Альбертина, беззаботно смеясь, – смеясь, может быть, надо мной, – не натворила с ними беды, что я пустился на хитрость – внезапно уехал, – одним ударом попытавшись порвать все ее дурные знакомства. Пассивность Альбертины, ее способность забывать и покоряться были так велики, что она действительно порвала все такие отношения, и я излечился от мучившей меня фобии. Но фобия эта может принимать столько же форм, как и неопределенное зло, являющееся ее предметом. Пока моя ревность не перевоплотилась в новые существа, я переживал после прекращения моих страданий период покоя. Но малейший повод обостряет хроническую болезнь, подобно тому как малейший предлог способен вновь оживить (после периода целомудрия) порок женщины, причиняющей нам ревность, и побудить ее предаваться ему с другими лицами. Я мог разлучить Альбертину с ее сообщницами и таким образом избавиться от наваждения; но если можно было заставить ее позабыть определенных лиц, истребить ее привязанности, так ведь ее вкус к наслаждению был хроническим и, может быть, только ждал случая, чтобы проснуться вновь. А Париж доставляет таких случаев столько же, как и Бальбек.

В каком бы городе она ни находилась, ей не нужно было искать, потому что зло гнездилось не в одной только Альбертине, но и в других, для которых хорош всякий случай испытать наслаждение. Взгляд одной тотчас подхватывается другой и сближает двух изголодавшихся. Ловкой женщине не стоит большого труда сделать вид, будто она ничего не заметила, а через пять минут подойти к особе, которая подхватила ее взгляд и поджидает ее на перекрестке, и в двух словах назначить ей свидание. Кто узнает об этом когда-нибудь? При желании продолжать это Альбертине было так просто сказать мне, что она хочет вновь посмотреть какую-нибудь понравившуюся ей окрестность Парижа. Вот почему достаточно ей было вернуться слишком поздно, достаточно было ее прогулке затянуться необъяснимо долго, хотя, может быть, объяснение этой продолжительности было бы весьма легко найти, не обращая ни к каким чувственным мотивам, – и боль моя возобновлялась, связываясь на этот раз с представлениями, не относящимися к Бальбеку, которые я пытался, подобно предшествующим, истребить, точно истребление преходящей причины способно вылечить врожденную болезнь. Я упускал из виду, что при этих истреблениях, в которых соучастницей моей была способность Альбертины меняться, забывать и почти ненавидеть недавний предмет своей любви, я причинял иногда глубокое страдание неизвестным, с которыми она последовательно вкушала наслаждение, и что это страдание я причинял напрасно, ибо неизвестные будут покинуты и замещены другими, и параллельно пути, отмеченному столькими изменами, которые она совершит

с легким сердцем, для меня протянется другой беспощадный путь, едва прерываемый коротенькими роздыхами; так что болезнь моя, по здравом размышлении, могла окончиться только с Альбертиной или моей смертью. В первое время по нашем приезде в Париж, неудовлетворенный сведениями, которые доставляла мне Андре и шофер о прогулках с моей подругой, я даже воспринимал окрестности Парижа почти так же болезненно, как и окрестности Бальбека, почему и уехал с Альбертиной на несколько дней из Парижа. Но неуверенность в ее поведении везде оставалась одинаковой; возможностей предаваться пороку было у нее столько же, а присмотр становился более затруднительным, так что вскоре я возвратился. Покидая Бальбек, я думал, что покидаю Гоморру, вырываю из нее Альбертину; увы, Гоморра была рассеяна по всему лицу земли! И частью благодаря моей ревности, частью вследствие незнания этих наслаждений (случай, наблюдающийся очень редко) я, сам того не подозревая, устроил игру в прятки, в которой Альбертина постоянно от меня ускользала.

Я спрашивал ее врасплох: «Ах, кстати, Альбертина, приснилось ли мне это, или вы действительно сказали, что знакомы с Жильбертой Сван?» – «Да, то есть она помогала мне на уроках, потому что у нее были записки по французской истории, она была даже так мила, что одолжила мне свои тетради, и при первой же встрече с ней я их вернула». – «Что же, она из тех женщин, которых я не люблю?» – «О, ничуть, совсем напротив». Но я не любил заниматься такого рода допросами и часто посвящал на мысленное представление прогулки Альбертины больше сил, чем затратил бы их на действительное участие в этой прогулке; я заводил с ней речь с тем жаром, который сохраняют в нас нетронутым неосуществленные планы. Я выражал такое горячее желание вновь взглянуть на тот или другой витраж Сент-Шапель, такое сожаление по поводу невозможности пойти в эту часовню вдвоем с Альбертиной, что она ласково говорила мне: «Милый мой мальчик, если вы думаете, что это доставит вам такое удовольствие, сделайте маленькое усилие, поезжайте с нами. Мы будем ждать вас сколько вам угодно, вы успеете собраться не торопясь. Впрочем, если вам больше нравится быть одному со мной, я сейчас же спроважу Андре, она придет в другой раз». Но эти просьбы выйти прогуляться действовали на меня так успокоительно, что я мог уступить желанию остаться дома.

Мне в голову не приходило, что апатия, которой я наполнялся, поручая присмотр за Альбертиной Андре или шоферу и перенося на них таким образом заботу успокаивать мое возбуждение, сковывала у меня все те движения рассудка, парализовала всю ту работу воображения, все те озарения воли, которые помогают нам угадать замыслы интересующего нас лица и помешать ему привести их в исполнение; а надо сказать, что от природы мир возможного всегда был больше открыт мне, чем мир реальный с его непредвиденными случайностями. Такая особенность облегчает нам познание человеческой души вообще, но часто вводит в заблуждение относительно тех или иных конкретных лиц. Моя ревность порождалась образами, созданными моим страданием, а вовсе не была результатом исчисления вероятностей. Между тем в жизни людей, как и в жизни народов, может наступить мгновение (и ему предстояло наступить также и в моей жизни), когда чувствуется иметь в себе префекта полиции, дипломата с ясным и трезвым умом, начальника сыскного отделения, который вместо мечтаний о возможностях, таящихся в каждой точке земной поверхности, рассуждает точно и говорит: «Если Германия заявляет то-то и то-то, то значит, она хочет предпринять нечто совсем другое, не неопределенный какой-то шаг, а в точности то-то и то-то, и, может быть, уже приступила к осуществлению своего замысла». – «Если такое-то лицо убежало, то оно скрылось не в *a*, *b*, *d* – а в *c*, и место, где следует производить наши поиски, есть *c*». Увы, способность эту, которая никогда не была сильно развита у меня, я оставлял в пренебрежении; она слабела и глохла вследствие моей привычки успокаиваться, как только другие брали на себя заботу присматривать вместо меня.

Что же касается причины моего нежелания выходить из дому, то мне было бы неприятно сообщить ее Альбертине. Я говорил ей, что доктор велел мне лежать в постели. Это была неправда. Но если бы даже доктор действительно велел мне лежать, его предписания были бы

неспособны помешать мне сопровождать мою подругу. Я просил у нее позволения не выходить с нею и с Андре. Я скажу только одну причину, которая сводится к соображениям благоразумия. Когда я выходил с Альбертиной, то, стоило ей хотя бы на минуту отлучиться от меня, как я уже начинал беспокоиться, воображал, что она, может быть, разговаривает с кем-нибудь или просто смотрит на кого-нибудь. Если она не бывала в отличном расположении духа, то я думал, что из-за меня ей приходится отказаться от своих планов или отложить их осуществление. Действительность – всегда только притрава для неизвестности, по путям которой мы не можем зайти особенно далеко. Лучше ничего не знать, думать как можно меньше, не давать ревности ни малейшей конкретной подробности. К несчастью, при отсутствии внешней жизни материал для ревности доставляется жизнью внутренней; при отсутствии прогулок с Альбертиной, случайности, на которые я набредал во время своих размышлений в одиночестве, снабжали меня иногда теми клочками действительности, что наподобие магнита притягивают к себе более или менее обширные области неведомого, и оно становится тогда мучительным. Хотя бы мы жили под колоколом воздушного насоса, все равно ассоциации представлений, воспоминания продолжают свою игру. Но эти ушибы изнутри я получал не сразу; едва Альбертина отправлялась на свою прогулку, как я испытывал, хотя бы только на несколько мгновений, живительное действие возбуждающих свойств одиночества.

Я принимал участие в радостях начинающегося дня; продиктованного прихотью, чисто субъективного желания насладиться этими радостями было бы недостаточно для их получения, если бы стоявшая на дворе погода, помимо оживления образов прошлого, не утверждала также реальности настоящего мгновения, непосредственно доступной всем, кого какое-нибудь случайное и, следовательно, не заслуживающее внимания обстоятельство не принуждало оставаться дома. В иные холодные погожие дни устанавливался такой непосредственный контакт с улицей, что казалось, будто убраны стены, и звук каждого проходящего трамвая раздавался как удар серебряного ножа по стеклянному дому. Но с особенным опьянением прислушивался я к некоему новому звуку, издаваемому во мне самом внутренней скрипкой. Струны ее натягиваются или ослабляются простыми изменениями наружной температуры и наружного освещения. В нашем существе, инструменте, который однообразие привычки привело к молчанию, пение вызывается этими колебаниями, этими переменами, источником всякой музыки: погода, стоящая в иные дни, заставляет нас переходить от одной ноты к другой. Мы вновь находим забытую мелодию, математическую необходимость которой мы могли бы предугадать и которую в первые мгновения мы поем, не узнавая. Одни только эти внутренние, хотя и приходившие извне, модификации обновляли для меня внешний мир. Давно уже заколоченные двери к нему вновь открывались в моем мозгу. Жизнь некоторых городов, веселье некоторых прогулок снова занимали во мне подобающее место. Трепеща всем существом вокруг вибрирующей струны, я пожертвовал бы своей тусклой прошедшей жизнью и жизнью предстоящей, обесцвеченной резинкой привычки, ради этого столь своеобразного состояния.

Хотя я и не выходил из дому сопровождать Альбертину в длинных ее прогулках, ум мой блуждал от этого ничуть не меньше, и, отказавшись вкушать сладость этого утра своими чувствами, я зато наслаждался в воображении всеми подобными утрами, действительно мной виденными или возможными, говоря точнее – определенным типом утр, перемежающимся явлением которого были все такие утра; я тотчас узнавал его, ибо свежий воздух сам переворачивал страницы, какие нужно было, и я видел перед собой раскрытое Евангелие дня, которое мог читать, не вставая с постели. Это идеальное утро нагружало мой ум устойчивой реальностью, тожественной у всех подобных утр, и наполняло меня ликованием, которое ничуть не ослаблялось моим болезненным состоянием: хорошее самочувствие обуславливается в гораздо меньшей степени нашим здоровьем, чем неиспользованным излишком наших сил, и мы одинаково хорошо можем достичь его как умножением этих сил, так и ограничением нашей деятельности. Переполюнявшее меня радостное возбуждение, во власть которого я отдавался, лежа

в постели, бросало меня в трепет, заставляло меня внутренне прыгать, подобно машине, которая, когда ей мешают перемещаться, вращается вокруг собственной оси.

Приходила Франсуаза затопить камин и, чтобы дрова лучше разгорались, бросала в огонь охапку сучьев, запах которых, забытый в течение лета, описывал подле камина магический круг, в пределах которого, застывая себя за чтением то в Комбре, то в Донсьере, я чувствовал себя так же радостно в своей парижской комнате, как если бы мне сейчас предстояло отправиться на прогулку в сторону Мезеглиза или увидаться с Сен-Лу и его друзьями, отбывающими службу в лагерях. Часто случается, что удовольствие, испытываемое всеми людьми при переглядывании воспоминаний, собранных их памятью, бывает более живым у тех, например, кого тирания телесного недуга и ежедневная надежда на выздоровление лишают, с одной стороны, возможности отправиться искать на лоне природы картин, схожих с этими воспоминаниями, а с другой – оставляют у них достаточно уверенности, что им вскоре удастся это сделать, отчего больные продолжают их желать, к ним стремиться, а не рассматривают только как воспоминания, как картины. Но хотя бы им никогда не суждено было быть ничем другим для меня и хотя бы, припоминая их я мог их созерцать только мысленно, все же, благодаря тождественности ощущения, они вдруг перерождали меня целиком в ребенка, в юношу, который их когда-то видел. Происходила не только перемена погоды на дворе, не только менялся запах в комнате, но делался иным также мой собственный возраст, моя теперешняя личность подменялась другой. Запах сухих сучьев в морозном воздухе был как бы куском прошлого, невидимой ледяной глыбой, которая оторвалась от давно прошедшей зимы и проникала в мою комнату, часто при этом изборозженная таким-то запахом, такой-то окраской, словно различными годами, в которые я ощущал себя погруженным вновь, охваченный, еще прежде даже, чем я узнавал их, ликованием давным-давно оставленных надежд. Солнце доходило до самой моей кровати, проникало сквозь прозрачную оболочку моего истончившегося тела, согревало меня, делало горячим, как кристалл. Тогда, подобно изголодавшемуся выздоравливающему, мысленно лакомящемуся всеми блюдами, в которых ему еще отказывают, я спрашивал себя, не испортит ли женитьба на Альбертине всей моей жизни, возложив на меня, с одной стороны, непосильную задачу посвящения всего себя другому существу, а с другой – заставив меня отвлечься от внутреннего мира по причине ее постоянного присутствия и навсегда лишив меня радостей одиночества.

И не только их. Даже если не спрашивать у наступающего дня ничего, кроме желаний, все же нужно признать, что среди них есть такие – вызываемые не вещами, а людьми – которым присущ индивидуальный характер. Если, встав с постели, я шел к окну и раздвигал на мгновение занавески, то делал это не только как музыкант, открывающий на мгновение свой рояль, чтобы проверить, в точности ли соответствует солнечный свет на балконе и на улице диапазону, в каком он сохранился в моем воспоминании, но также и для того, чтобы увидеть, например, прачку, несущую корзину с бельем, булочницу в голубом переднике, молочницу с нагрудником и манжетами из белого полотна, держащую в руках крючок, на котором подвешены графины с молоком, надменную блондинку, идущую со своей гувернанткой, наконец, просто какой-нибудь образ, который одно различие линий, количественно, может быть, ничтожное, оказалось способным сделать столь же отличным от любого другого образа, как одна музыкальная фраза отлична от другой благодаря различию двух нот, и не увидя которого я чувствовал бы недостаток: день оказался бы лишенным целей, которые он мог предложить для моих желаний счастья. Но если избыток радости, доставленный видом женщин, которых невозможно представить *a priori*, делал для меня более желанными, более достойными исследования улицу, город, мир, он тем самым наполнял меня также жаждой выздороветь, выйти, расстаться с Альбертиной и быть свободным. Сколько раз, когда незнакомая женщина, о которой я собирался мечтать, проходила пешком мимо нашего дома или вихрем проносилась в автомобиле, я страдал оттого, что мое тело не могло последовать за настигавшим ее моим

взором и, упав на нее, словно пуля, пущенная аркебузой из амбразуры моего окна, остановить беглянку, посулившую счастье, которым здесь взаперти мне никогда не суждено будет наслаждаться.

Зато от Альбертины мне больше нечего было ожидать. С каждым днем она казалась мне менее красивой. Одно лишь желание, возбуждаемое ею в других, высоко поднимало ее в моих глазах, когда, узнав об этом, я снова начинал страдать и хотел ее отвоевать. Она была способна причинить мне страдание, но не доставляла ни малейшей радости. Одно только страдание поддерживало мою скучную привязанность. Как только страдание исчезало, а с ним и потребность его успокаивать, поглощавшая все мое внимание, словно утонченная жестокая забава, я чувствовал ничтожность того, чем она была для меня и чем я должен был быть для нее. Я был несчастен оттого, что такое положение затянулось, и по временам мне хотелось услышать о совершении ею чего-нибудь ужасного, способного посорить нас до моего выздоровления, так как это позволило бы нам примириться, позволило бы обновить и сделать более гибкой сковывавшую нас цепь.

А тем временем я пользовался тысячей обстоятельств, тысячей удовольствий, чтобы создать ей возле себя иллюзию того счастья, которое я чувствовал себя не в силах ей дать. Мне хотелось по выздоровлении поехать в Венецию, но как это сделать, если я женюсь на Альбертине, – ведь я был так ревнив, что даже в Париже решался сдвинуться с места только для того, чтобы сопровождать ее на прогулках. Даже когда я сидел весь день дома, мысль моя следовала за ней, достигала далекого голубоватого горизонта, порождала вокруг центра, которым был я, подвижную зону неуверенности и неопределенности. «От скольких горестей разлуки, – говорил я себе, – избавит меня Альбертина, если во время одной из этих прогулок, видя, что я не заговариваю с ней больше о женитьбе, решит не возвращаться и отправиться к тетке, даже не попрощавшись со мной!» Сердце мое, когда рана его зарубцовывалась, переставало прилепляться к сердцу моей подруги; я мог мысленно перемещать ее, удалять от себя, и это не причиняло мне страдания. Конечно, если не я, то кто-нибудь другой будет ее мужем, и на свободе она пустится, может быть, в те приключения, что внушали мне ужас. Но погода была такая хорошая, и я был так уверен в возвращении Альбертины вечером, что даже если мысль о ее возможных грехах приходила мне на ум, я мог свободным решением воли заключить ее в тот участок моего мозга, где она имела не больше значения, чем его имели бы для моей реальной жизни пороки какой-нибудь воображаемой женщины; я пускал в ход эластичные пружины своей мысли и, ощущая у себя в голове силу одновременно физическую и духовную в виде мышечного напряжения и волевой инициативы, энергично освобождался от привычного состояния озабоченности, в котором был заточен до сих пор; я начинал двигаться на вольном воздухе, где готовность идти на всевозможные жертвы, чтобы воспрепятствовать браку Альбертины с другим и помешать ее влечению к женщинам, казалась мне столь же безрассудной, как она показалась бы человеку, не знавшему ее вовсе.

Впрочем, ревность принадлежит к числу тех перемежающихся болезней, причина которых, капризная, повелительная, всегда одинаковая у одного больного, бывает иногда диаметрально противоположной у другого. Есть астматики, способные успокаивать свои припадки, только открывая окна, подставляя грудь ветру, вдыхая чистый воздух горных вершин, и есть другие, которые чувствуют себя лучше, забившись в прокуренной комнате в центре города. Мало найдется таких ревнивцев, ревность которых не шла бы на некоторые компромиссы. Один соглашается быть обманутым, лишь бы ему сообщили об этом, другой, напротив, – при условии, чтобы от него скрывали измены; оба они одинаково безрассудны, ибо, если второй бывает обманутым в более строгом смысле этого слова, поскольку от него скрывают истину, то первый хочет получить от этой истины пищу для своих страданий, их продление и обновление.

Больше того, обе эти противоположные мании ревности часто не довольствуются словами, не ограничиваются тем, что вымаливают или отвергают признания. Встречаются рев-

нивы, ревнующие только к женщинам, с которыми их любовница имеет сношения вдали от них, но позволяющие ей отдаваться другому мужчине, если это происходит с их ведома, подле них, и хотя не на глазах у них, то по крайней мере под их крышей. Этот вид ревности довольно часто можно наблюдать у пожилых мужчин, влюбленных в молодую женщину. Они сознают трудность нравиться ей, чувствуют иногда бессилие удовлетворить ее и, не желая быть обманутыми, предпочитают пускать к себе, в соседнюю комнату, молодого человека, которого считают неспособным дать их любовнице дурные советы, но очень способным доставить ей наслаждение. Другие поступают как раз наоборот: ни на минуту не оставляя своей любовницы одной в знакомом им городе, они держат ее в настоящем рабстве, но в то же время соглашаются отпустить ее на месяц в страну, которой они не знают, где ее поведение будет недоступно их воображению. По отношению к Альбертине у меня были оба эти вида успокоительных маний. Я бы не чувствовал ревности, если бы она предавалась наслаждениям подле меня, поощряемая мной, если бы знал об этих наслаждениях все подробности и был избавлен таким образом от страха услышать ложь; я бы, может быть, также не чувствовал ревности, если бы она уехала в страну мало мне известную и достаточно отдаленную для того, чтобы я мог представить себе ее образ жизни, чтобы у меня могло появиться искушение разузнавать о нем. В обоих случаях сомнение было бы рассеяно либо исчерпывающим знанием, либо полным неведением.

Угасание дня погружало меня, благодаря воспоминаниям, в живительную атмосферу прежних дней, и я дышал ею с тем же наслаждением, с каким Орфей вдыхал тонкий, неведомый на нашей земле воздух Елисейских Полей.

Но день уже кончался, и меня начинали заливать волны вечерней печали. Взглянув машинально на часы и сообразив, сколько еще времени пройдет до возвращения Альбертины, я видел, что у меня есть еще время одеться и спуститься к владелице нашего дома герцогине Германтской, чтобы расспросить ее о разных красивых принадлежностях туалета, которые я собирался подарить моей подруге. Иногда я встречал герцогиню во дворе, выходящей из дому для прогулки пешком, даже если бывала ненастная погода, в плоской шляпе и с мехом на плечах. Я отлично знал, что для большинства интеллигентных людей она была только элегантною дамой, так как в настоящее время, когда нет больше герцогств и княжеств, имя герцогини Германтской лишено всякого значения, но я усвоил другую точку зрения и по-своему наслаждался людьми и странами. Мне казалось, что эта дама в мехах, не обращавшая внимания на дурную погоду, носила с собой все замки земель, коих она была герцогиней, принцессой, виконтессой, вроде тех изваянных на архитравах порталов фигур, которые держат на руке построенный ими собор или защищенный от неприятеля город. Но эти замки и эти леса были видимы лишь глазами моей души в левой руке дамы в мехах, кузины короля. Телесные же мои глаза различали у нее в руке во время непостоянной погоды только дождевой зонтик, которым герцогиня не боялась вооружаться. «Мы не можем знать заранее, нужно быть предусмотрительной, вдруг я окажусь где-нибудь далеко, а извозчик запросит с меня слишком *дорого*». Слова «слишком дорого», «мне не по средствам», то и дело повторялись в разговоре герцогини наряду со словами «я очень бедная», причем собеседник не мог хорошенько разобрать, говорит ли она так потому, что находит забавным говорить, что она бедная, будучи на самом деле баснословно богатой, или же потому, что находит элегантною, будучи большой аристократкой, напускать на себя вид простой крестьянки и не придавать богатству того значения, какое придают ему люди, не имеющие ничего, кроме богатства, и презирающие бедняков. А, может быть, у нее просто действовала привычка, выработавшаяся еще в тот период ее жизни, когда, уже будучи богатой, однако недостаточно по сравнению с расходами, связанными с содержанием таких обширных владений, она испытывала некоторые денежные затруднения, но не желала делать вид, будто их скрывает. Вещи, о которых мы чаще всего говорим в шутку, обыкновенно являются, напротив, вещами, озабочивающими нас, но так, что мы не хотим показать нашей озабоченности, может

быть, в смутной надежде на ту лишнюю выгоду, что наш собеседник, слыша наши шутки, не поверит тому, над чем мы подшучиваем.

Но чаще всего я знал, что застаю герцогиню дома, и был рад этому, так как в этот час было удобнее подробно выспрашивать у нее желательные для Альбертины сведения. И я спускался к ней, почти не думая о всей необычайности того, что к этой таинственной герцогине Германтской моего детства я иду исключительно с целью воспользоваться ею для самых прозаических надобностей, вроде того как мы пользуемся телефоном, сверхъестественным инструментом, чудесам которого некогда так дивились и которым теперь пользуются почти бессознательно для вызова портного или заказа мороженого.

Безделушки из области нарядов доставляли Альбертине огромное удовольствие. Я не мог удержаться от поднесения ей каждый день нового подарка. Глаза ее мгновенно подмечали все, что касалось элегантности, и она с восхищением говорила мне о шарфе, о мехе, о зонтике, которые через окно или, проходя по двору, она видела на шее, на плечах или в руке герцогини Германтской; во всех таких случаях, зная, что от природы разборчивый вкус девушки (еще более утонченный уроками элегантности, которыми были для нее разговоры с Эльстиром) ни в каком случае не будет удовлетворен вещью, приблизительно похожей и даже изящной, заменяющей вещь подлинную в глазах невежды, но в корне от нее отличной, я потихоньку отправлялся к герцогине разузнать у нее, где, как по какой модели было изготовлено то, что понравилось Альбертине, какие шаги мне нужно предпринять, чтобы получить в точности такую же вещь, в чем заключается секрет мастера, прелесть (которую Альбертина называла «шиком», «последней модой») его манеры, точное название – красота материала имела также большое значение – и качество материй, которые мне приходилось покупать для заказываемой вещи.

Когда я сказал Альбертине по возвращении из Бальбека, что напротив нас, в том же доме, живет герцогиня Германтская, то, услышав громкий титул и громкое имя, она приняла тот более чем равнодушный – враждебный, презрительный – вид, который является обыкновенно выражением бессильного желания у натур гордых и страстных. Хотя характер у Альбертины был превосходный, однако таившиеся в нем достоинства могли развиваться только в обстановке тех помех, каковыми являются наши склонности или сожаления о склонностях, которыми нам пришлось поступиться – вроде того как Альбертина поступилась снобизмом – и которые называются антипатиями. Антипатия Альбертины к светскому обществу занимала, впрочем, очень мало места в ее душе и нравилась мне революционным духом, – иными словами несчастной любовью к знати, – начертанным на оборотной стороне французского характера, в котором есть аристократический тон герцогини Германтской. Альбертина, может быть, и не стала бы горевать о недостижимости для нее этого тона, но при воспоминании о беседах с Эльстиром, говорившим ей о герцогине как о наилучшем образе одевавшейся в Париже женщине, республиканское презрение к герцогине сменялось у моей подруги живым интересом к элегантной даме. Она часто расспрашивала меня о герцогине Германтской и любила, чтобы я ходил к ней за советами относительно дамских туалетов. Правда, я мог бы попросить этих советов и у г-жи Сван, я даже раз написал ей об этом. Но мне казалось, что герцогиня Германтская довела до еще большего совершенства искусство одеваться. Если, удостоверившись предварительно, что она дома, и попросив, чтобы в случае возвращения Альбертины мне тотчас об этом дали знать, я на минуту спускался к герцогине и заставлял ее окутанной, как облаком, пеленой серого платья из крепдешина, я принимал это зрелище, чувствуя, что оно обусловлено причинами сложными и не могло бы быть изменено, я упивался излучаемой им атмосферой, оно напоминало мне иные вечера, подернутые серовато-жемчужной дымкой легкого тумана; если же, напротив, домашнее платье герцогини было китайским, если оно горело желтыми и красными огнями, я смотрел на него, как на яркий закат; туалеты этой женщины не были случайным украшением, которое можно произвольно заменить другим, но непреложной

поэтической реальностью вроде погоды, вроде особого освещения, свойственного определенному часу дня.

Из всех платьев и пеньюаров, которые носила герцогиня Германтская, как будто наиболее отвечали определенному намерению, больше всего были наделены специальным значением туалеты, изготовленные Фортюни по старинным венецианским рисункам. Исторический ли их характер или же, скорее, то обстоятельство, что каждый из них уника, придают им такое своеобразие, что поза наряженной в них женщины, поджидающей вас или с вами разговаривающей, приобретает значение исключительное, как если бы костюм ее являлся плодом долгого размышления, а ваш разговор с нею был оторван от повседневной жизни, словно сцена романа. Мы видим, как героини Бальзака нарочно надевают то или другое платье в день, когда им предстоит принять определенного гостя. Теперешние туалеты лишены такой выразительности, за исключением платьев работы Фортюни. В описании романиста не должно содержаться ни малейшей неопределенности, потому что платье это действительно существует и ничтожнейшие его узоры так же естественно положены на нем, как орнамент на произведении искусства. Надевая то или другое, женщина должна была сделать выбор не между почти одинаковыми нарядами, но между глубоко индивидуальными платьями, каждое из которых можно было бы наименовать. Но платье не мешало мне думать о женщине.

Сама герцогиня Германтская казалась мне в ту пору более приятной, чем во времена, когда я еще любил ее. Ожидая от нее меньше (я больше не посещал ее ради нее самой), я почти со спокойной беззаботностью, – которую испытываешь, когда остаешься совсем один, протянув ноги к камину, – слушал герцогиню, словно читал книгу, написанную на старинном языке. Ум мой был достаточно свободен, чтобы наслаждаться в ее речах тем чисто французским изяществом, какого не найти больше ни в современном разговоре, ни в современной литературе. Я слушал ее речи, как милую народную песенку, насквозь французскую, мне были понятны ее насмешки над Метерлинком (которым, впрочем, она теперь восхищалась, по слабости женского ума, чувствительного к литературным модам, воспринимаемым широкой публикой с некоторым запозданием), так же как были понятны насмешки Мериме над Бодлером, Стендаля над Бальзаком, Поль-Луи Курье над Виктором Гюго, Мельяка над Малларме. Я отлично понимал, что мысль насмешника гораздо ограниченнее мысли того, над кем он насмехается, но словарь его чище. Словарь герцогини Германтской почти в такой же степени, как и словарь матери Сен-Лу, был восхитительно чист. Не в холодных подделках современных писателей, говорящих: на деле (вместо в действительности), особенно (вместо в частности), удивлен (вместо ошеломлен) и т. п., и т. п., мы вновь находим старый язык и правильное произношение, но разговаривая с людьми, вроде герцогини Германтской или Франсуазы; еще в пять лет я узнал от последней, что нужно говорить не «Тарн», а «Тар»; не «Беарн», а «Беар». Поэтому в двадцать лет, когда я стал бывать в свете, для меня не было открытием, что не следует говорить подобно г-же Бонтан: мадам де Беарн.

Я солгал бы, сказав, что герцогиня не создавала этого сохранившегося у нее почвенного и как бы крестьянского элемента и не выставляла его на показ с некоторой рисовкой. Но с ее стороны это были не столько напускная простота знатной дамы, разыгрывающей роль деревенской жительницы, не столько надменность герцогини, насмехающейся над богатыми дамами, которые презирают крестьян, не зная их, сколько почти художественный вкус женщины, сознающей прелесть своих природных качеств и не желающей портить их современной дешевкой. Та же манера, что, как известно, свойственна была одному нормандскому ресторатору в Диве, владельцу «Вильгельма Завоевателя», который удержался – вещь столь редкая в наше время – от соблазнов внести в свое заведение современную роскошь и, ставши миллионером, сохранял говор нормандского крестьянина, продолжал носить крестьянскую блузу и пускал своих клиентов на кухню, где они могли видеть, как он собственноручно стряпает обед, точно в деревен-

ской харчевне, что нисколько не мешало этому обеду быть бесконечно лучше и стоить гораздо дороже обедов в самых больших дворцах.

Локальной сочности, свойственной старым аристократическим фамилиям, однако мало, нужно еще, чтобы кто-нибудь из их представителей оказался достаточно умен и не презирал бы эти унаследованные от предков особенности, не затушевывал их светским лоском. Герцогиня Германтская, усвоившая, к несчастью, остроумие парижанки и в период моего знакомства с нею удержавшая от своей родной почвы только выговор, все же, изображая свои девические годы, умела находить для своего языка один из тех компромиссов (между тем, что показалось бы слишком грубым провинциализмом, невольным сорвавшимся с уст, с одной стороны, и искусственной книжностью, с другой), которые составляют прелесть «Маленькой Фадетты» Жорж Санд и некоторых легенд, изложенных Шатобрианом в его «Посмертных мемуарах». С особенным удовольствием слушал я, как она рассказывала эпизоды, когда ей приходилось соприкасаться с крестьянами. Древние имена, старинные обычаи сообщали этим соприкосновениям замка и деревни какой-то особенный смак. Сохраняя общение с землями, на которых ей некогда принадлежала верховная власть, часть аристократии остается областной, так что самая простая фраза, сказанная иным аристократом, разворачивает перед нашими глазами целый кусок исторической и географической карты Франции.

Если бы сюда не вносилось никакой нарочитости, никакого стремления фабриковать свой особый язык, то эта манера произношения являлась бы настоящим словесным музеем французской истории. Выражение «мой двоюродный дедушка Фитт-жам» не заключало в себе ничего удивительного, ибо известно, что Фитц-Джемсы любят заявлять о своей принадлежности к французской знати и не желают, чтобы их фамилию произносили по-английски. Но поистине удивительна трогательная покорность, с какой люди, считавшие до сих пор своим долгом произносить некоторые фамилии согласно требованиям грамматики, вдруг – услышав, как герцогиня Германтская произносит их иначе – делались рьяными защитниками произношения, о возможности которого они даже не подозревали. Так, герцогиня, один из прадедов которой был приближенным графа Шамборского, любила дразнить своего мужа за то, что тот стал орлеанистом, заявляя: «Мы старые сторонника Фрошдорфа». Посетитель, считавший до сих пор, что его произношение «Фросдорф» совершенно правильно, круто менял свои убеждения и беспрестанно повторял: «Фрошдорф».

Однажды, спросив у герцогини Германтской, кто такой изящный молодой человек, которого она представила мне как своего племянника и фамилия которого была плохо мной слышана, я разобрал эту фамилию ничуть не лучше, когда из глубины своей глотки герцогиня очень громко, но нечленораздельно выбросила: «Это м... и... Эон... з...ять Робера. Он воображает, будто у него форма черепа древних кельтов». Тогда я понял, что она сказала: это маленький Леон, то есть принц Леонский, действительно зять Робера де Сен-Лу. «Не знаю, действительно ли у него такой череп, – продолжала она, – но, во всяком случае, свою манеру одеваться, впрочем, очень элегантную, он заимствовал не у кельтов. Однажды, когда в Жослене, у Роганов, мы пошли оттуда с крестным ходом, в котором участвовали крестьяне почти из всех частей Бретани, какой-то деревенский верзила из Леона вытаращил глаза на коричневые штаны зятя Робера. «Что это ты уставился на меня? Держу пари, ты не знаешь, кто я такой», – сказал ему Леон. Крестьянин признался, что он действительно не знает. «Так знай: я твой принц». «Вот как! – отвечал крестьянин, обнажая голову и извиняясь. – А я вас принял за англичанина».

И если, пользуясь этим предлогом, я начинал расспрашивать герцогиню Германтскую о Роганах (с которыми ее предки часто рождались), речь ее насыщалась меланхолической прелестью бретонских крестных ходов и, как сказал бы Пампиль, этот подлинный поэт, «терпким вкусом гречневых блинов, испеченных на хворосте утесника».

Рассказывая о маркизе дю Ло (печальный конец которого, когда, глухой, он велел приносить себя к ослепшей г-же Г..., общеизвестен), герцогиня останавливалась на менее трагиче-

ских годах его жизни, когда после охоты в Германте он выходил к вечернему чаю с английским королем в ночных туфлях, так как не считал себя ниже рангом и с королем не церемонился. Герцогиня рассказывала об этом так красочно, что наделяла его мушкетерскими жестами, свойственными немного кичливым дворянам из Перигора.

Впрочем, умение тщательно оттенять различие между провинциями даже при самой поверхностной характеристике людей сообщало герцогине Германтской, остававшейся в таких случаях непосредственной, большую прелесть, которой никогда не способна была бы приобрести прирожденная парижанка, и простые имена: Анжу, Пуату, Перигор, воссоздавали в ее разговоре пейзажи.

Возвращаясь к произношению и словарю герцогини Германтской, я хочу отметить, что в этой именно особенности находит себе выражение надменный консерватизм знати, если брать это слово со всем что в нем есть немного ребяческого, немного опасного, враждебного эволюции, но в то же время забавного для художника. Мне хотелось знать, как писалось в старину слово *Jean*. Я удовлетворил свое любопытство, получив письмо от племянника г-жи де Вильпаризи, который подписывается – как он был окрещен, как он красуется в Готском Альманахе – *Jehan* де Вильпаризи, с тем же красивым *h*, ненужным, геральдическим, каким мы любимся в Часослове или на витраже, где оно расцвечено киноварью или ультрамарином.

К несчастью, у меня не было времени затягивать эти визиты до бесконечности, ибо я старался по возможности вернуться домой раньше моей подруги. Между тем мне лишь по капелькам удавалось получать от герцогини сведения относительно ее туалетов, так полезные мне при заказе платьев в таком же роде для Альбертины, поскольку их может носить молодая барышня. «Помните, мадам, в тот день, когда вы собирались обедать у госпожи де Сент-Эверт, а затем пойти на вечер к принцессе Германтской, на вас было платье все красное, красные туфли, вы были умопомрачительны, похожи на большой кровавый цветок, на огненный рубин? Как это называется? Может ли молодая девушка носить такое платье?»

Герцогиня, придав своему утомленному лицу лучистое выражение, появившееся у принцессы де Лом, когда Сван говорил ей когда-то комплименты, взглянула, улыбаясь сквозь слезы, с насмешливым, вопросительным и восхищенным видом на господина де Бреоте, всегда находившегося у нее в этот час и замораживавшего под своим моноклем улыбку, снисходительную к этой выпренной галиматье, так как ему казалось, что она прикрывает возбуждение молодого человека. Своим видом герцогиня как будто говорила: «Что это он мелет, он с ума сошел». Затем, обратившись ко мне, произнесла разнеженным тоном: «Не знаю, была ли я похожа на огненный рубин или на кровавый цветок, но помню, что на мне точно было красное платье, из красного шелка, как делали в то время. Да, молодая девушка, на худой конец, может носить такое платье, но вы говорили мне, что ваша красавица не выходит по вечерам. А это платье для больших вечеров, в нем нельзя делать визиты».

Замечательно, что из всего этого вечера, сравнительно недавнего, герцогиня Германтская удержала в памяти только свой туалет и позабыла об одной вещи, которая, однако, как мы увидим дальше, должна была бы ее заинтересовать. По-видимому, у людей действия (а светские люди суть люди действия – махонького, микроскопического, но все же действия) ум, утомленный вниманием к тому, что произойдет в течение ближайшего часа, поверяет памяти лишь очень немногие впечатления. Очень часто, например, вовсе не для того, чтобы одурачить и напустить на себя вид человека, которого не удалось провести, г. де Норпуа, когда ему заявляли о прогнозах, высказанных им по поводу союза с Германией, о котором не было и речи, заявлял: «Вы, наверно, ошибаетесь, я совсем не помню, это не похоже на меня, так как в подобного рода разговорах я всегда очень лаконичен и никогда бы не предсказал успеха одной из тех эффектных мер, которые часто оказываются всего лишь безрассудными мерами и обычно вырождаются в меры насильственные. Невозможно отрицать, что в отдаленном будущем франко-германское сближение окажется осуществимым и принесет больше выгоды обоим

странам; я думаю, что Франции худа от этого не будет, но я никогда об этом не говорил, так как плод еще не созрел, и если вы хотите знать мое мнение, то мне кажется, что, предлагая нашему старинному врагу вступить с нами в законный брак, мы рискуем потерпеть большое фиаско и получим одни только неприятности». Говоря так, г. де Норпуа не лгал, он просто забыл. Вообще, мы быстро забываем все, над чем не размышляли серьезно, что было продиктовано нам подражанием, модными увлечениями. Увлечения эти меняются, а с ними меняются и наши воспоминания. Политические деятели еще скорее, чем дипломаты, забывают о позициях, на которых они стояли в известный период времени, и отречение от собственных слов объясняется у них иногда не столько чрезмерным честолюбием, сколько слабостью памяти. А у светских людей память вообще короткая.

Герцогиня Германтская утверждала, что не помнит, присутствовала ли г-жа Шоспьер на том вечере, когда она была в красном платье, и что я, наверное, ошибаюсь. Между тем судьбе угодно было, чтобы после этого Шоспьеры привлекли внимание герцога и герцогини. Вот по какой причине. Герцог Германтский был старейшим вице-президентом Жокей-клуба, когда умер президент. Некоторые члены клуба без связей, единственным удовольствием которых является класть черняки людям, их не приглашающим, повели кампанию против герцога Германтского, который был настолько уверен в своем избрании и относился так пренебрежительно к должности президента, вещи ничтожной по сравнению с его положением в свете, что не принял никаких мер для приобретения лишних голосов. Противники его поставили на вид, что герцогиня – дрейфусарка (дело Дрейфуса было давно уже закончено, но и двадцать лет спустя о нем все еще говорили, а тут прошло всего только два года), принимает Ротшильдов, что в обществе с некоторого времени слишком потворствуют международным магнатам, каковым был герцог Германтский, наполовину немец. Кампания нашла очень благоприятную почву, ибо клубы всегда относятся очень ревниво к людям видным и терпеть не могут крупных состояний.

Состояние Шоспьера было тоже немаленькое, но оно никого не могло оскорблять: Шоспьер не тратил лишней копейки, жили супруги скромно, жена всегда была одета в черное шерстяное платье. Страстная любительница музыки, она устраивала скромные концертные утра, на которые приглашала гораздо больше певиц, чем герцогиня Германтская. Но никто не говорил об этих утрах в глухой улице де ла Шез, гостей не обносили на них сладостями, муж обыкновенно отсутствовал. В опере г-жа Шоспьер оставалась незамеченной, ее всегда окружали люди, имена которых приводили на память ультрареакционных приближенных Карла X, но люди эти были не видные, не светские. К общему изумлению, в день выборов темнота восторжествовала над ослепительным светом: Шоспьер, второй вице-президент, был избран президентом Жокей-клуба, а герцог потерпел поражение, то есть остался первым вице-президентом. Конечно, быть президентом Жокей-клуба не так уж заманчиво для принцев первого ранга, каковыми были Германты. Но не быть избранным, когда пришла ваша очередь, видеть, что вам предпочли какого-то Шоспьера, жене которого Ориана не только не отвечала на поклон два года назад, но даже считала себя оскорбленной поклонами этого никому неведомого нетопыря, было тяжело герцогу. Он делал вид, будто он выше этой неудачи, уверял, что ею обязан своей давнишней дружбе со Сваном. В действительности же он не переставал негодовать.

Замечательная вещь: от герцога Германтского никогда нельзя было услышать довольно банального выражения «во всех отношениях», но едва только после выборов в Жокей-клубе заходила речь о деле Дрейфуса, как тотчас появлялось «во всех отношениях»: «Дело Дрейфуса, дело Дрейфуса, это легкомысленно сказано, термин неподходящий; это совсем не религиозное дело, но *во всех отношениях* «дело политическое». Могло пройти пять лет, и никто не услышал бы «во всех отношениях», если в течение этого времени не было разговоров о деле Дрейфуса, но если по прошествии пяти лет имя Дрейфуса снова упоминалось, тотчас автоматически раздавалось «во всех отношениях». Впрочем, герцог не мог больше переносить разговоров об этом деле, «которое, – жаловался он, – причинило столько несчастья», хотя на самом деле

он болезненно ощущал только одно несчастье: свой провал на выборах в президенты Жокей-клуба. Вот почему, когда я напомнил герцогине Германтской о красном платье, в котором она явилась на вечер к своей родственнице, то слова г-на де Бреоте, пожелавшего принять участие в разговоре, были приняты герцогиней весьма неблагосклонно. Задвигав языком между губами, сложенными сердечком, он по какой-то темной и им не раскрытой ассоциации идей произнес: «Кстати, о деле Дрейфуса» (неизвестно почему о деле Дрейфуса, речь шла только о красном платье, и, конечно, бедный Бреоте, всегда старавшийся сделать приятное, сказал это без всякого злого умысла). Но от одного имени Дрейфуса нахмурились олимпийские брови герцога Германтского. «Мне передали, – сказал Бреоте, – одну удачную остроту, ей-богу очень тонкую, нашего друга Картье (предупреждаем читателя, что этот Картье, брат г-жи де Вильфранш, не имел и тени родства со своим однофамильцем-ювелиром), что, впрочем, меня не удивляет, потому что это ума палата». – «Вот уж, – перебила Ориана, – не польстилась бы я на его ум. Если бы вы знали, как мне всегда бывало тошно от вашего Картье! Я никогда не могла понять, какие прелести Шарль де ла Тремуи и его жена находят в этом скучном болтуне, – я постоянно встречаю его там, когда прихожу к ним». – «Дорогая герцогиня, – отвечал Бреоте, который с трудом произносил *p*, – я нахожу, что вы очень суровы к Картье. Правда, он, может быть, чересчур уж зачастил к Ла Тремуи, но ведь он для Шарля нечто вроде, как бы это сказать, вроде верного Ахата, а в наши времена это очень редкая птица. Во всяком случае, вот острота, которую мне передали. Картье будто бы сказал, что, если господин Зола добивался процесса, не боясь обвинительного приговора, то делал это с целью испытать неизведанное им до сей поры ощущение – ощущение человека, сидящего в тюрьме». – «И поэтому удрал перед тем, как его должны были арестовать, – перебила Ориана. – Одно с другим плохо вяжется. Впрочем, если бы даже это было правдоподобно, я нахожу остроту плоской и дурацкой. И вы называете это остроумием!» – «Боже мой, дорогая Ориана, – отвечал Бреоте, который, видя, что с ним спорят, начинал идти на попятный, – острота не моя, я повторяю вам, что мне было сказано, принимайте ее за то, чего она стоит. Во всяком случае, за эту остроту господин Картье был порядком отчитан нашим превосходным Ла Тремуи, который вполне резонно не желает, чтобы в его салоне велись разговоры о том, что я назову, как бы это сказать: злободневными делами. Он был тем более раздосадован, что у него как раз в это время находилась госпожа Альфонс Ротшильд. Картье пришлось выслушать от Ла Тремуи жестокий выговор». – «Разумеется, – сказал герцог очень раздраженным тоном, – Альфонс Ротшильд и его супруга хотя и достаточно тактичны, чтобы никогда не заговаривать об этом гнусном деле, в душе все же дрейфусары, как и все евреи. Этим аргументом *ad hominem* (герцог употреблял выражение *ad hominem* немного невпопад) недостаточно пользуются для доказательства недобросовестности евреев. Если ворует и убивает француз, я не считаю себя обязанным находить его невинным на том основании, что сам я тоже француз. Но евреи ни за что не согласятся признать своего единоплеменника предателем, хотя бы они отлично знали об этом, и им нет никакого дела до ужасающих потрясений (герцог, естественно, имел в виду злосчастное избрание Шоспьера), которые может вызвать преступление одного из них, так что даже... Ведь не правда ли, Ориана, вы не станете отрицать, что единодушная поддержка евреями предателя-еврея есть факт, говорящий не в их пользу. Вы не станете отрицать, что они поступают так, потому что они евреи». – «Боже мой, конечно, стану, – отвечала Ориана (несколько раздраженная и испытывающая желание поспорить с гремящим Юпитером и поставить «разум» выше дела Дрейфуса). – Ведь, может быть, как раз потому, что они евреи и сознают себя таковыми, они убеждены, что можно быть евреем и не быть непременно предателем и французофобом, как это думает, по видимому, господин Дрюмон. Разумеется, если бы Дрейфус был христианином, евреи не проявили бы к нему интереса, а проявили они этот интерес, так как ясно сознают, что, если бы он не был евреем, его не сочли бы так легко предателем а priori, как сказал бы мой племянник Робер». – «Женщины ничего не смыслят в политике! – воскликнул герцог, пристально

посмотрев на герцогиню. – Ведь это гнусное преступление не есть чисто еврейская тяжба, но *во всех отношениях* огромное национальное дело, которое может повлечь самые ужасающие последствия для Франции, откуда надо было бы выгнать всех евреев, между тем как принятые до сих пор меры были направлены (самым низким способом, и этот вопрос необходимо пересмотреть) не против них, но против самых выдающихся их противников, против людей перворазрядных, оставленных за бортом на несчастье нашей бедной родины».

Чувствуя, что этот разговор к добру не приведет, я поспешно заговорил снова о платьях.

– «Помните, герцогиня, – сказал я, – ту нашу встречу, когда вы в первый раз были любезны со мной?» – «В первый раз была любезна с ним!» – подхватила она, смотря со смехом на г-на де Бреоте, кончик носа которого заострился, улыбка смягчилась из учтивости к герцогине, а голос, напоминающий треск, который слышится при точке ножа, издал несколько неясных и хриплых звуков. «Вы были в желтом платье с большими черными цветами». – «Да ведь, милый мой, это то же самое, все это вечерние туалеты». – «А ваша шляпа с васильками, которую я так любил! Но все это, в конце концов, только воспоминания. Я хотел бы заказать для интересующей меня особы меховое мантио, вроде того, что было на вас вчера утром. Нельзя ли мне будет на него взглянуть?» – «Почему же. Но Аннибал как раз отлучился сейчас на минутку. Приходите ко мне, и моя горничная вам все это покажет. Я с удовольствием помогу вам, мой мальчик, своим советом, в чем угодно, только если вы вздумаете заказывать вещи от Калло, Дусе или Пакена у мелких портних, вы получите совсем не то». – «Да я и не собираюсь обращаться к мелкой портнихе, я прекрасно знаю, что получится совсем не то, но меня интересует, почему это так получится». – «Вы ведь хорошо знаете, что я не умею объяснять, что я глупая и говорю, как мужичка. Все зависит от отделки, от фасона; что касается меховых вещей, я могу по крайней мере дать вам записку к моему скорняку, который в этом случае вас не ограбит. Но знайте, что вещь все же обойдется вам в восемь или девять тысяч франков». – «А то домашнее платье, которое так дурно пахнет, оно было на вас однажды вечером: темное, пушистое, в золотистых крапинах или полосках, как крыло бабочки?» – «О, это платье от Фортюни, ваша барышня вполне может носить его дома. Таких платьев у меня много, я покажу их вам, могу даже подарить, если угодно. Но мне очень хотелось бы, чтобы вы увидели платье моей кузины Талейран. Я как-нибудь напишу ей прислать мне его». – «На вас были такие удивительно красивые туфли, они тоже от Фортюни?» – «Нет, я знаю, о чем вы говорите, это туфли из золоченой кожи, которую мы нашли в Лондоне, обходя тамошние магазины с Консуэлой Манчестерской. Восхитительная вещь! Я не способна понять, как это сделано; кажется, будто кожа золотая, вы видите только золото и на нем бриллиантик. Бедная герцогиня Манчестерская умерла, но, если вам угодно, я напишу госпоже Ворзик или госпоже Мальборо, чтобы они постарались найти что-нибудь похожее. Как будто даже у меня самой осталась эта кожа. Тогда можно будет, пожалуй, заказать здесь. Я поищу сегодня вечером и сообщу вам».

Так как я старался покинуть герцогиню до возвращения Альбертины, то, уходя от герцогини Германтской, часто встречал на дворе г-на де Шарлюс и Мореля, направлявшихся к Жюппену пить чай, что было знаком величайшего благоволения для барона. Встречался я с ними не каждый день, но ходили они туда ежедневно. Следует, впрочем, заметить, что привычка обыкновенно бывает тем устойчивее, чем она нелепее. Блистательные подвиги совершаются в большинстве случаев вдруг. Жизнь же бессмысленная, когда маньяк сам лишает себя всех радостей и навлекает на себя величайшие невзгоды, принадлежит к числу явлений, почти не меняющихся. Если через каждые десять лет вы из любопытства будете навещать несчастного, то обнаружите, что он неизменно просыпает часы, в течение которых мог бы жить, и, напротив, выходит из дому, когда на улицах нечего делать, разве только представлять собой мишень для убийцы, пьет ледяную воду, когда жарко, вечно простужен и лечится от насморка. Чтобы покончить с этим раз навсегда, достаточно было бы один только раз сделать маленькое усилие. Но такого рода жизнь является обыкновенно уделом как раз существ, не способных к

затрате энергии. Пороки являются другой стороной этих однообразных существований, которые можно было бы сильно скрасить при помощи волевого усилия. Обе эти стороны видны были у г-на де Шарлюса одинаково явственно во время его ежедневных посещений Жюппена в обществе Мореля. Один только раз гроза омрачила этот каждодневный обычай. Когда племянница жилетника сказала как-то Морелю: «Отлично, приходите завтра, я вас угощу чайком», г. де Шарлюс вполне основательно нашел это выражение крайне вульгарным для особы, которую он рассчитывал сделать почти что невесткой, но так как барон любил браниться и опьянялся своим гневом, то вместо того, чтобы попросить Мореля дать этой девице урок приличия, он всю дорогу домой закатывал скрипачу раздирательные сцены. Самым заносчивым и надменнейшим тоном он кричал: «Развитие пальцев, “туше”, которое, я вижу, не связывается непременно с “тактом”, должно быть, помешало нормальному развитию вашего обоняния, раз вы допустили, чтобы это вонючее выражение “угостить чайком” – на пятнадцать сантимов, я полагаю – ударило своим навозным духом в мой царственный нос? Разве бывало когда-нибудь, чтобы в моем доме по окончании вами соло на скрипке вас награждали звучно выпущенными ветрами вместо неистовых аплодисментов или молчания, еще более красноречивого, ибо оно рождено бессилием сдержать не то, что расточает вам ваша невеста, но рыдание, подступающее к горлу при звуках вашей игры?»

Когда такие упреки случается выслушивать чиновнику от своего начальника, это верный признак, что на другой день его выгонят со службы. Напротив, для г-на Шарлюса не могло быть ничего более ужасного, чем удаление Мореля; поэтому, испугавшись, не зашел ли он слишком далеко, барон начал расточать девушке тонкие, полные вкуса похвалы, невольно пересыпая их грубостями. «Она очаровательна, и так как вы музыкант, то мне кажется, что она прельстила вас голосом, который у нее прекрасен на верхних нотах, когда она как будто ожидает аккомпанемента вашего си диез. Нижний ее регистр мне нравится меньше, должно быть, это связано с тройным началом ее странной тонкой шеи, которая, как будто закончившись, снова поднимается; глаз мой радуют не столько ее посредственные черты, сколько весь ее силуэт. Так как она портниха и, вероятно, умеет орудовать ножницами, то нужно, чтобы она подарила мне красивую бумажную выкройку своей фигуры».

Шарли пропускал эти похвалы мимо ушей, тем более что прославляемые в них прелести невесты ему никогда не удавалось подметить. Однако он ответил г-ну де Шарлюсу: «Решено, мой мальчик, я намылю ей голову, чтобы она больше так не говорила». Если Морель говорил г-ну де Шарлюсу «мой мальчик», то отсюда не следует, будто прекрасному скрипачу не было известно, что он почти втрое моложе барона. Равным образом он говорил эти слова не так, как их сказал бы Жюппен, а с той простотой, которая в известного рода отношениях предполагает, что нежность молчаливо предварена уничтожением разницы лет. Нежность, притворная у Мореля. У других нежность искренняя. Так, приблизительно в это время г. де Шарлюс получил следующее письмо: «Дорогой мой Паламед, когда же я снова увижусь с тобой? Я очень скучаю по тебе и часто о тебе думаю. *Пьер*». Г. де Шарлюс ломал голову, кто это из его родственников позволил себе написать ему так фамильярно, должно быть, кто-то, близко знавший его, а между тем почерк был незнакомый. Все принцы, которым Готский Альманах уделяет по несколько строк, дефилировали в течение нескольких дней в мозгу г-на де Шарлюса. Вдруг, при виде адреса, написанного на обороте, его озарило: автор письма был посыльный из игорного клуба, куда ходил иногда г. де Шарлюс. Этот посыльный не считал обращение, написанное в таком тоне, невежливостью по отношению к барону, который был в его глазах большим бароном. Но ему казалось нелюбезным говорить «вы» человеку, который столько раз целовал его и тем доказал ему – воображал он по своей наивности – свою искреннюю любовь. Г. де Шарлюс был в глубине души восхищен этой фамильярностью. При разъезда с одного утра он предложил даже проводить г-на де Вогубер, чтобы по дороге показать ему письмо. Между тем всем было известно, что г. де Шарлюс не любит выходить с г-ном де Вогубер. Ибо этот последний,

вооружившись моноклем, все время озирался на проходящих мимо молодых людей. Больше того, находясь в обществе г-на де Шарлюс, он не стеснялся говорить языком, которого барон терпеть не мог. Все мужские имена г. де Вогубер обращал в женские; по глупости он считал эту выдумку необыкновенно остроумной и все время звонко хохотал. Но так как дипломат очень старался не уронить своего престижа, то его слишком непринужденные манеры и постоянный смех на улице то и дело прерывались приступами панического страха при встречах со светскими людьми и особенно с чиновниками. «Взгляните на эту телеграфисточку, – говорил он, подталкивая локтем нахмурившегося барона, – я знаю ее, но она устроилась, мерзавка! А этот мальчишка, развозящий товары из галереи Лафайет, какое чудо! Боже мой, вот идет навстречу директор коммерческого департамента. Лишь бы только он не заметил моего жеста. Он способен рассказать о нем министру, который оставит меня за бортом, тем более что, мне кажется, дело к тому идет». Г. де Шарлюс был вне себя от бешенства. Наконец, чтобы сократить эту раздражавшую его прогулку, он решился достать свое письмо и дать прочесть его послу, но попросил Вогубера никому об этом не рассказывать, так как изображал Шарли ревнивым, желая создать впечатление, будто скрипач в него влюблен. «А вы знаете, – прибавил барон в порыве уморительной доброты, – всегда надо стараться причинять как можно меньше огорчений».

Прежде чем возвратиться к лавочке Жюпье, автор считает своим долгом сказать, что ему будет крайне прискорбно, если читатель окажется оскорбленным столь странными сценами. С одной стороны (это довольно второстепенная частность), у читателя создается впечатление, будто аристократия обвиняется здесь в вырождении в гораздо большей степени, чем другие общественные классы. Даже если бы это было и так, удивляться тут нечему. У наиболее древних родов красный и горбатый нос, уродливый подбородок становятся в заключение отличительными признаками, по которым каждый узнает «породу». Но среди этих устойчивых и непрестанно усиливаемых черточек есть и невидимые, каковыми являются наклонности и вкусы. Более серьезным, будь оно основательно, явилось бы возражение, что все это нам чуждо и что поэзию следует извлекать из истин более очевидных. Искусство, извлеченное из самых обыденнейших предметов, действительно существует, и его владения, может быть, наиболее обширны. Но не менее верно и то, что большой интерес, иногда даже красота, могут быть порождены действиями, вытекающими из душевного строя, столь далекого от всех наших привычных чувств и мыслей, что мы не можем даже приблизиться к их пониманию, и они развертываются перед нами как беспричинное зрелище. Что может быть поэтичнее Ксеркса, сына Дария, приказывающего высечь розгами море, поглотившее его корабли?

По всей вероятности, Морель, пользуясь над девушкой властью, которую давали ему его прелести, передал ей замечание барона, принятое им на свой счет, потому что выражение «угостить чайком» исчезло из лавочки жилетника столь же бесследно, как исчезает из салона близкий друг дома, которого принимали каждый день, но с которым по той или другой причине хозяева поссорились или прячут его и видятся с ним в другом месте. Г. де Шарлюс был удовлетворен исчезновением «угостить чайком». Он видел в нем доказательство своего влияния на Мореля и удаление единственного пятнышка, мавшего совершенство девушки. Кроме того, подобно всем представителям своей породы, будучи совершенно искренним другом Мореля и его невесты, горячим сторонником их брака, он был в то же время очень падок устраивать по своему усмотрению более или менее безобидные ссоры, на которые взирал со стороны и с высоты таким же олимпийцем, как его брат.

Морель сказал г-ну де Шарлюс, что любит племянницу Жюпье, хочет жениться на ней, и барону приятно было сопровождать своего юного друга во время визитов к Жюпье, где он играл роль будущего посаженного отца, тароватого и снисходительного. Ничто так его не радовало.

Я лично думаю, что «угощать чайком» исходило от самого Мореля и что в любовном ослеплении юная портниха усвоила выражение обожаемого ею существа, звучавшее резким диссонансом на фоне изящной речи молодой девушки. Благодаря этой речи, милым манерам, так мило гармонировавшим с ее внешностью, и покровительству г-на де Шарлюс многие ее заказчицы принимали ее дружески, приглашали обедать, вводили в круг своих знакомых, хотя девушка принимала приглашения только с позволения барона де Шарлюс и только в те вечера, когда это было для нее удобно. «Портниха в свете?» – скажут мне читатели, какая небылица! Если пораздумать, не менее невероятны были полуночный визит ко мне Альбертины, два года назад, и ее теперешняя жизнь со мной. Невероятны они были бы, может быть, со стороны другой, но никак не со стороны Альбертины, круглой сироты, которая вела столь свободный образ жизни, что сначала я принял ее в Бальбеке за любовницу велосипедиста-гонщика, и самой близкой родственницей которой была г-жа Бонтан, уже во время визитов к г-же Сван восхищавшаяся только дурными качествами своей племянницы, а теперь закрывавшая глаза на ее поведение, особенно если оно могло помочь сбыть ее с рук, посодействовав ее богатому браку, при котором немного денежек перепадет и на долю тетки (в самом высшем свете сплошь и рядом бывает, что очень знатные и очень бедные матери, если им удалось найти богатых жен для своих сыновей, не стесняются жить на содержании молодых супругов, принимают меха, автомобиль и деньги от нелюбимых невесток, которых они вводят в свет).

Наступит, может быть, день, когда портнихи – и я не нахожу в этом ничего шокирующего – станут бывать в свете. Впрочем, племянница Жюпьена, составляя исключение, не дает еще права ни для каких прогнозов, одна ласточка не делает весны. Во всяком случае, если весьма скромное положение племянницы Жюпьена шокировало некоторых лиц, то к числу этих лиц не принадлежал Морель, ибо в известных отношениях глупость его была так велика, что он не только находил «глуповатой» эту девушку, которая была в тысячу раз умнее его, вероятно, потому лишь, что она любила его, но считал также принимавших ее солидных особ, знакомством с которыми она не чванилась, авантюристками, переряженными портнихами, игравшими роль светских дам. Разумеется, это были не Германты, ни даже люди с ними знакомые, а богатые, элегантные буржуа, державшиеся достаточно свободных взглядов, чтобы не находить никакого бесчестия, принимая у себя портниху, но также и достаточно раболепные, чтобы испытывать известное удовлетворение от покровительства девушке, которую ежедневно посещал с самыми чистыми намерениями его светлость барон де Шарлюс.

Ничто так не радовало барона, как мысль об этом браке, ибо он думал, что тогда Мореля у него не отнимут. По-видимому, племянница Жюпьена, будучи еще почти ребенком, совершила «грех». И г. де Шарлюс, несмотря на постоянные расхваливания ее Морелю, ничуть не был бы раздосадован, если бы друг его оказался посвященным в тайну ее греха и пришел от этого в ярость и если бы между молодыми был посеян таким образом раздор. Ибо, несмотря на свою чудовищную злобность, г. де Шарлюс был похож на огромное множество тех добрых людей, которые расточают похвалы тому или другому из своих знакомых, чтобы показать собственную доброту, но, как огня, испугались бы столь редко произносимых благодетельных слов, содействующих воцарению мира. Тем не менее барон остерегался всякого нескромного намека по двум следующим причинам: «Если я расскажу ему, – думал он, – что его невеста безупречна, его самолюбие будет уязвлено, он рассердится на меня. А кто мне поручится, что он не влюблен в нее? Если же я не скажу ничего, этот соломенный костер быстро потухнет, я стану управлять их отношениями как мне вздумается, он будет любить ее только в той степени, в какой мне будет желательно. Если я расскажу ему старый грех его суженой, то кто мне поручится, что мой Шарли уже не настолько влюблен, чтобы вспылать ревностью? Тогда я сам буду виновником превращения незначительного флирта, которым мы распоряжаемся, как нам угодно, в большую любовь, которой управлять трудно». По двум этим причинам г. де Шарлюс

хранил молчание, имевшее только видимость сдержанности, хотя и его можно было поставить в заслугу барону, так как молчание есть вещь почти непосильная для подобных ему людей.

Впрочем, племянница Жюпена была прелестна и всецело удовлетворяла эстетический вкус, который у г-на де Шарлюс мог быть к женщинам, так что ему хотелось иметь сотни ее фотографий. Барон не был таким глупцом, как Морель, и с удовольствием узнавал имена принимавших ее светских дам, которых его общественный нюх помещал довольно высоко, но (желая сохранить власть) он остерегался говорить об этом Шарли, который, будучи в данном отношении полнейшим невеждой, продолжал думать, что кроме «скрипичного класса» и Вердюренов существовали одни только Германты да несколько почти королевских фамилий, перечисленных бароном, а все остальное – «подонки», «сброд». Шарли перенял эти выражения у г-на де Шарлюс буквально.

Г. де Шарлюс радовался женитьбе скрипача на молодой девушке еще и потому, что рассчитывал увидеть в племяннице Жюпена своего рода продолжение личности Мореля, а следовательно, также власти барона над Морелем, знания Мореля. «Обманывать» в супружеском смысле будущую жену скрипача, – г-ну де Шарлюс ни на секунду не пришло бы в голову увидеть в этом что-либо зазорное. Но иметь под рукой «молодую чету», которой можно руководить, чувствовать себя страшным и всемогущим покровителем жены Мореля, которая, рассматривая барона как божество, показывала бы таким образом, что дорогой Морель внедрил в нее эту мысль, и содержала бы в себе, следовательно, некоторую частицу Мореля, было приятно г-ну де Шарлюс, это вносило разнообразие в характер его господства и рождало в его «собственности», в Мореле, еще одно существо, супруга, то есть придавало ему нечто иное, новое, нечто такое, что было бы занятно любить в нем. Это господство стало бы теперь, может быть, большим, чем оно было когда-нибудь. Ведь если Морель, одинокий, голый, так сказать, часто оказывал сопротивление барону, будучи вполне уверен, что вскоре вновь приобретет его благосклонность, то, став человеком женатым, он будет больше бояться за свое хозяйство, свою квартиру, свое будущее и предоставит прихотям г-на де Шарлюс больше простора, больше возможностей. Все это и при случае даже, в дни, когда ему будет скучно, разжигание войны между супругами (барон никогда не гнушался батальными картинами) нравилось г-ну де Шарлюс. Меньше, однако, чем мысль о зависимости от него, в которой будет жить молодая чета. Любовь г-на де Шарлюс к Морелю вновь приобретала сладостную новизну, когда он говорил себе: его жена будет также моей, поскольку сам он мой, они не будут делать ничего такого, что могло бы огорчить меня, будут повиноваться моим капризам, и таким образом он станет (до сих пор мне неизвестным) символом того, что уже почти забыто мной и к чему так чувствительно мое сердце – того, что в глазах всего света, в глазах людей, которые увидят, как я им покровительствую, их устраиваю, в моих собственных глазах, Морель – мой. Это наглядное для него и для других доказательство доставляло г-ну де Шарлюс больше удовольствия, чем все прочее. Ибо обладание тем, кого любишь, есть радость еще большая, чем любовь. Очень часто люди, скрывающие это обладание, поступают так только из страха, чтобы любимый предмет не был у них похищен. Но вследствие этого благоразумного молчания счастье их убавляется.

Читатель помнит, может быть, как Морель рассказал когда-то барону о своем заветном желании соблазнить какую-нибудь девушку, в частности, племянницу Жюпена, и о том, что для успеха своего замысла он пообещает ей жениться, а, изнасиловав, «наострит лыжи» и уедет подальше; но, слыша признания Мореля в любви к племяннице Жюпена, г. де Шарлюс позабыл об этом рассказе. Больше того: о нем забыл, может быть, сам Морель. Быть может, существовало огромное расстояние между натурой Мореля, – той, в которой он цинично признавался, пожалуй, даже искусно преувеличивая, – и минутой, когда она в нем снова взяла бы верх. Чем больше он сближался с девушкой, тем больше она ему нравилась, он начинал любить ее. Он так мало знал себя, что воображал, будто полюбил ее взаправду и даже, может быть, навсегда. Его первоначальное желание, его преступный замысел продолжали существовать, но

на них напластовалось столько инородных чувств, что мы бы не вправе были подозревать скрипача в неискренности, если бы он стал отрицать, что это порочное желание являлось истинным мотивом его поступка. Был, впрочем, краткий период, когда, не сознавая этого отчетливо, он считал женитьбу на портнихе необходимой. Морель мучился в то время довольно сильными судорогами правой руки и принужден был считаться с возможностью бросить скрипку. Так как во всем, что не касалось его искусства, он отличался непостижимой ленью, то перед ним повелительно вставала необходимость жить на чьем-либо содержании, и Морель предпочитал, чтобы его содержала племянница Жюпье́на, а не г. де Шарлюс: эта комбинация предоставляла ему больше свободы, а также больший выбор женщин как из числа всегда новых мастериц, которых он поручил бы племяннице Жюпье́на совращать для него, так и из числа красивых, богатых дам, которым он заставил бы ее продаваться. Возможность отказа его будущей жены от этих угождений и проявление ею строптивости ни на минуту не входили в расчеты Мореля. Впрочем, расчеты эти отошли на второй план и уступили место чистой любви, как только судороги прекратились. Довольно будет заработка от концертов да жалованья г-на де Шарлюс, требования которого несомненно умерятся после того, как он, Морель, женится на девушке. Свадьба была делом спешным по причине любви Мореля и в интересах его свободы. Он попросил у Жюпье́на руки племянницы, Жюпье́н же посоветовался с ней самой. Но в этом не было надобности. Страсть девушки к скрипачу струилась из нее, как ее волосы, когда они бывали распущены, как радость ее лучистых взоров. Почти все, что бывало приятно или выгодно Морелю, вызывало у него волнение, трогательные слова, иногда даже слезы. Поэтому он вполне искренно – если подобное слово может быть приложимо к Морелю – обращался к племяннице Жюпье́на с чувствительными речами (чувствительными бывают также речи стольких молодых аристократов, желающих бездельной жизни, которые они произносят какой-нибудь прелестной девушке из очень богатой буржуазии), – речами, по существу, столь же беззастенчиво низкими, как и те, что он держал г-ну де Шарлюс на тему об обольщении, о лишении девственности. Однако добродетельный энтузиазм к особе, доставлявшей ему удовольствие, и принятые им на себя торжественные обязательства по отношению к ней имели у Мореля и обратную сторону, как только известная особа переставала доставлять ему удовольствие или же обязательство выполнить данные обещания начинало казаться ему неприятным, эта особа тотчас возбуждала в Мореле антипатию, которую он старательно оправдывал в собственных глазах; после нескольких неврастенических припадков, когда его нервная система вновь начинала функционировать нормально, антипатия эта позволяла ему проникнуться убеждением, будто он, даже рассматривая вещи с чисто добродетельной точки зрения, свободен от всяких обязательств. Так, в конце своего пребывания в Бальбеке он растратил, не знаю на что, все свои деньги и, не смея сказать об этом г-ну де Шарлюс, искал человека, у которого можно было бы взять в долг. Он знал от своего отца (который, однако, строго-настрого запретил ему делаться «попрошайкой»), что в подобных случаях принято писать человеку, к которому мы хотим обратиться: «нам нужно поговорить с ним о делах» и «мы просим назначить нам деловое свидание». Эта магическая формула так восхищала Мореля, что он, мне кажется, охотно растратил бы свои деньги только ради удовольствия попросить свидания «для делового разговора». С течением времени он убедился, что формула лишена той чудодейственной силы, которую он ей приписывал. Он констатировал, что люди, к которым он никогда бы не обратился, не веруй он в формулу, не торопились отвечать ему через пять минут по получении письма, выражающего желание «поговорить о делах». Если проходило полдня, а Морель все не получал ответа, у него и мысли не возникало, что даже в самом благоприятном случае человек, к которому он обращался с просьбой, может быть, еще не возвратился домой или должен был раньше ответить на другие письма, не говоря уже о том, что он мог в это время куда-нибудь уехать, быть больным и т. п. Если при счастливом стечении обстоятельств Морель получал свидание на другой день утром, его первыми словами было: «Я был крайне

удивлен неполучением ответа, я боялся, уж не случилось ли чего, между тем здоровье ваше слава богу и т. д.». Вот почему в Бальбеке, не сообщая, что ему нужно поговорить с ним о «деле», Морель попросил меня познакомить его с тем Блоком, по отношению к которому он вел себя так неучтиво неделю назад в поезде. Блок без всяких колебаний одолжил ему, или, вернее, уговорил одолжить г-на Ниссима Бернара – 5000 франков. С этого дня Морель стал обожать Блока. Он спрашивал со слезами на глазах, как ему отблагодарить человека, спасшего его жизнь. В конце концов я взялся выхлопотать у г-на де Шарлюс для Мореля 1000 франков ежемесячно, с тем чтобы Морель тотчас же вручал эти деньги Блоку и таким образом сравнительно скоро с ним расквитался. В первый месяц Морель, находившийся еще под свежим впечатлением доброты Блока, немедленно отослал ему 1000 франков, но потом, должно быть, решил, что остальные 4000 можно употребить гораздо приятнее, ибо начал говорить много гадостей о Блоке. Один вид последнего способен был внушить ему черные мысли, и когда Блок, позабыв, сколько в точности им было дано Морелю в долг, требовал от него 3500 франков вместо 4000, так что скрипач выгадывал от этой забывчивости 500 франков, то Морель имел дерзость ответить, что после подобной лжи он не только не заплатит больше ни сантима, но его заимодавец должен благодарить Бога, если он не подаст на него в суд. Когда он произносил эти слова, глаза его сверкали. Он не удовольствовался, далее, заявлением, что Блок и г. Ниссим Бернар не вправе сердиться на него, но прибавил, что они должны почитать счастьем, если сам он не рассердился на них. Наконец, когда г. Ниссим Бернар сказал будто бы, что Тибо играет ничуть не хуже Мореля, этот последний решил привлечь банкира к ответственности, потому что подобное заявление способно было причинить ему материальный ущерб; с тех пор – так как нет больше справедливости во Франции, особенно со стороны евреев (антисемитизм был у Мореля естественным следствием дачи ему в долг 5000 франков евреем), – он не выходил больше из дому без заряженного револьвера. Подобное не нервное состояние сменило вскоре порывы нежности у Мореля в его отношениях к племяннице Жюльена. Правда, известную роль в этой перемене сыграл, сам, может быть, не подозревая о том, г. де Шарлюс, который часто заявлял, не придавая значения ни единому своему слову, просто с целью подразнить молодых, что после свадьбы он не увидит их больше и предоставит им летать на собственных крыльях. Сама по себе мысль эта не в силах была отвлечь Мореля от его невесты; однако, засев в уме скрипача, она легко могла в один прекрасный день сочетаться с другими тяготеющими к ней мыслями, способными, после смещения с нею, стать мощным фактором разрыва.

Впрочем, мне не очень часто случалось встречаться с г-м де Шарлюс и Морелем. Часто они находились уже в лавочке Жюльена, когда я покидал герцогиню, ибо общество ее было для меня так приятно, что я забывал не только свое томительное состояние, охватывавшее меня перед возвращением Альбертины, но даже час этого возвращения.

Один из таких дней, когда я засиделся у герцогини Германтской, особенно ярко запечатлелся в моей памяти, так как был отмечен маленьким происшествием, жестокий смысл которого совершенно ускользнул от меня и был воспринят только много времени спустя. В тот день герцогиня Германтская, зная, что я люблю цветы, подарила мне душистый жасмин, присланный с юга. Когда, покинув герцогиню, я поднимался к себе, Альбертина уже вернулась, и я встретился на лестнице с Андре, на которую, по-видимому, неприятно подействовал резкий запах находившихся у меня цветов.

– «Как, вы уже возвратились!» – сказал я ей. – «Только сию минуту, но Альбертина засела за письмо и выпроводила меня». – «Вы не думаете, что она строит какие-нибудь нехорошие планы?» – «Нисколько, Альбертина пишет, вероятно, своей тетке, только она не любит сильных запахов и вряд ли будет в восторге от вашего жасмина». – «Какая же неудачная мысль пришла мне в голову! Я велю Франсуазе поставить цветы на площадке черной лестницы». – «И вы воображаете, что Альбертина не услышит от вас запаха жасмина? Вместе с запахом туберозы это, может быть, самый одуряющий; к тому же я думаю, что Франсуаза ушла куда-то». – «Как

же я тогда попаду к себе, я не взял с собой ключа». – «О, да вам стоит только позвонить. Альбертина вам откроет. Да и Франсуаза, может быть, возвратится тем временем».

Я попрощался с Андре. После первого же звонка Альбертина прибежала открыть мне, что оказалось делом сложным, так как Франсуазы не было, а без нее Альбертина не умела зажечь огонь. Наконец, ей удалось выпустить меня, но цветы жасмина обратили ее в бегство. Я отнес их на кухню, так что, прервав свое письмо (для меня было непонятно почему), подруга моя успела за это время пройти в мою комнату, откуда она позвала меня, и растянуться на моей кровати. Еще раз повторяю, в то время я нашел все это вполне естественным, самое большее немного бессвязным, во всяком случае, не стоящим внимания. Она едва не была застигнута врасплох с Андре и хотела выиграть немного времени, для чего потушила свет, отправилась в мою комнату, чтобы не дать мне увидеть ее постель в беспорядке, и притворилась, будто пишет письмо. Но все это разъяснится впоследствии, причем мне осталось навсегда неизвестно, есть ли тут правда. Вообще же, за этим единственным исключением, все протекало нормально после моих возвращений от герцогини. Я находил обыкновенно в передней шляпу, пальто и зонтик Альбертины; она оставляла их там на всякий случай, думая, что у меня явится, может быть, желание погулять с ней перед обедом. Едва только я замечал все эти предметы, переступив порог передней, как тотчас дышать становилось легче. Я чувствовал, что вместо разреженного воздуха комнаты наполняются счастьем. Я бывал избавлен от моей печали, вид этих ничтожных предметов вызывал у меня желание обладать Альбертиной, я бежал к ней.

Если же мне не хотелось спускаться к герцогине Германтской, я пытался убить как-нибудь время перед возвращением моей подруги перелистыванием альбома Эльстира, книги Бергота, сонаты Вентейля.

Так как даже произведения, обращенные, по-видимому, только к зрению и слуху, могут улаживать нас лишь в том случае, если работа двух названных чувств протекает в тесном сотрудничестве с деятельностью рассудка, то я, не подозревая о том, оживлял в себе мечты, зароненные Альбертиной еще в те времена, когда я не был знаком с нею, и потому заглушенные повседневной жизнью. Я бросал их в фразу композитора или в картину художника, как в горнило, я напивал ими книгу, которую читал. И книга казалась мне от этого более живой. Но и Альбертина выигрывала не меньше благодаря такому перенесению в один из двух доступных нам миров, куда мы можем последовательно помещать один и тот же предмет, благодаря такому освобождению от сокрушительного гнета материи и легкому парению в текучих пространствах мысли. На мгновение я вдруг обретал в себе способность воспламеняться страстью к скучной и бесцветной барышне. В такие мгновения она приобретала внешность произведения Эльстира или Бергота, я испытывал мимолетное восхищение ею, видя ее в волшебных далах мечты или искусства.

Скоро мне сообщали, что она вернулась; мною было отдано приказание не называть ее имени, если я был не один, если у меня сидел, например, Блок, которого я задерживал на некоторое время, чтобы предотвратить его встречу с Альбертиной. Ибо я скрывал ее пребывание в моем доме и даже то, что я вижусь с ней у себя, настолько я боялся, как бы кто-нибудь из моих приятелей не влюбился в нее, не вздумал поджидать ее на улице, или как бы сама она, встретясь с ними в коридоре или в передней, не подмигнула и не назначила свидание. Затем я слышал шум юбки Альбертины, направлявшейся в свою комнату; из скромности, а также, вероятно, по тем причинам, в силу которых когда-то, во время наших обедов в Распельере, она всячески старалась не возбудить во мне ревности, подруга моя, зная, что я не один, не заходила ко мне. Но я вдруг соображал, что ее поведение объясняется не только этим. Я вспоминал; я знал когда-то одну Альбертину, затем она внезапно превратилась в другую, в теперешнюю. И ответственность за эту перемену я мог возложить только на себя. Все, в чем она легко и охотно призналась бы мне, когда мы были добрыми приятелями, все такие признания прекратились, как только она пришла к убеждению, что я ее люблю, или, не произнося, может быть, имени

Любви, угадала во мне некое инквизиторское чувство, которое жадно хочет знать, страдает от полученных признаний, но пытается узнать еще больше. С этого дня она стала скрывать от меня все. Она обходила подальше мою комнату, если думала, что я был часто даже не с приятелем, а с приятельницей, – та самая Альбертина, глаза которой так оживлялись в прежнее время, когда я заговаривал о какой-нибудь барышне: «Нужно постараться пригласить ее, мне бы очень хотелось с ней познакомиться». – «Но она из тех, кого вы называете женщинами дурного тона». – «Тем более, это будет еще интереснее». В то время я мог бы, может быть, узнать все. И даже когда в маленьком казино она перестала прижиматься грудью к груди Андре, мне кажется, поступила она так не ради меня, а благодаря присутствию Котара, который, как она думала, вероятно, распустил бы о ней дурные слухи. И однако уже тогда она начала замыкаться, доверчивые слова не слетали больше у нее с уст, жесты ее стали сдержанными. Потом она отбросила от себя все, что могло бы взволновать меня. Благодаря моему неведению она легко сообщила неизвестным мне частям своей жизни совершенно безобидный характер. Теперь ее превращение было полным: если я был не один, она шла прямо в свою комнату не только из нежелания помешать мне, но также и с целью показать, что ей нет до других никакого дела. Была единственная вещь, которой она бы ни за что не позволила себе больше со мной, которую она бы позволила только тогда, когда вещь эта стала бы для меня безразличной, которую она бы позволила охотно именно по причине моего равнодушия, – именно: откровенность. Отныне я навсегда, подобно судье, буду обречен выводить шаткие заключения из случайных ее обмолвок, которые можно было бы, пожалуй, объяснить и не строя гипотез о ее виновности. И она всегда будет чувствовать мою ревность, мое осуждение.

Слушая шаги Альбертины со спокойным удовольствием от сознания, что она больше никуда не уйдет сегодня вечером, я дивился, как для этой барышни, познакомиться с которой, я думал раньше, мне никогда не удастся, ежедневное возвращение домой стало в то же время возвращением ко мне. Наслаждение, сотканное из тайны и чувственности, которое мимолетно и отрывочно испытал я в Бальбеке в тот вечер, когда она приходила ночевать в гостиницу, сделалось полным, стабилизировалось, наполняло мою некогда пустую квартиру неиссякаемым запасом домашней, почти семейной теплоты, которая излучалась даже в коридор и переднюю и мирно согревала все мои чувства то реально, то – в минуты, когда я был один, – в мечтах, предвосхищавших возвращение Альбертины. Услышав шум закрываемой двери в ее комнату, я старался поскорее спровадить приятеля, если в это время у меня был приятель, но расставался с ним, только вполне уверившись, что он вышел на лестницу, для чего иногда сам спускался на несколько ступенек. Приятель говорил, что я простужусь, обращал мое внимание на то, что наша квартира холодная, везде сквозняки и что ни за какие деньги он не согласился бы в ней жить. Жалобы на холод объяснялись тем, что зима только начиналась и к ней еще не привыкли, но по этой самой причине холод воскрешал во мне радость, сопровождавшую бессознательное воспоминание первых зимних вечеров, когда, возвратившись бывало из путешествия, я шел в кафе-шантан вновь соприкоснуться с забытыми парижскими удовольствиями. Вот почему, попрощавшись с приятелем, я поднимался по лестнице и входил в комнаты с веселыми песенками. Улетевшее лето забрало с собой птиц. Но их заменили другие музыканты, невидимые, внутренние. Без устали напеваемые мотивы Фрагсона, Майоля или Полюса с таким же иступлением приветствовали холодный северный ветер, проклинаяемый Блоком, но восхитительно дувший в щели плохо прилаженных дверей нашей квартиры, с каким лесные птицы приветствуют погожие летние дни. В коридоре передо мной появлялась Альбертина. «Вот что, пока я буду переодеваться, побудьте с Андре, она зашла на минутку, хочет с вами попрощаться». Вся закутанная в большую серую вуаль, спускавшуюся с шиншиловой шапочки, которую я подарил ей в Бальбеке, Альбертина удалялась в свою комнату, словно догадываясь, что Андре, которой я поручил наблюдать за нею, сообщив мне ряд подробностей, упомянув о встрече их с одной знакомой, внесет некоторую четкость в туманные области, по которым они разгуливали

в течение целого дня и которые мне не удавалось представить. Недостатки Андре выступили наружу, она не была больше так приятна, как во времена, когда я с ней познакомился. По лицу ее было разлито теперь какое-то напряженное беспокойство, всегда готовое разразиться шквалом, как только я заговаривал о чем-нибудь приятном для Альбертины и для меня. Это ничуть не мешало Андре относиться ко мне лучше, любить меня больше – у меня есть для этого достаточно доказательств – чем люди гораздо более любезные. Но малейшее счастливое выражение, появлявшееся на моем лице, если оно было вызвано не ею, действовало ей на нервы, было ей неприятно, как шум громко хлопнувшей двери. Она относилась участливо к страданиям, виновницей которых она не была, но не допускала радостей. Если она заставляла меня больным, она сокрушалась, жалела меня, изъявляла готовность за мной ухаживать. Но если я испытывал хотя бы самое ничтожное удовлетворение, например, потягивался с блаженным видом, закрывая книгу и говоря: «Ах, какие очаровательные два часа провел я за чтением этой интересной книги!» – то эти слова, которые доставили бы удовольствие моей матери, Альбертине. Сен-Лу, вызвали у Андре как бы осуждение, может быть, чисто нервное движение. Мое довольство чем-нибудь причиняло ей раздражение, которое она не могла скрыть. К этим маленьким недостаткам присоединялись более серьезные; однажды, когда я заговорил о том молодом человеке, большом эрудите в области скачек, игр, гольфа и круглом невежде во всех остальных областях, которого я встречал когда-то в Бальбеке с девичьей «ватагой», Андре стала хихикать: «Вы знаете, его отец проворовался, дело чуть не дошло до суда. Они страшно зачванились, но я с удовольствием сообщаю об этом всем и каждому. Хотела бы я, чтоб они привлекли меня к ответу за клевету. Какое хорошенькое показание я бы дала!» Глаза ее сверкали. Спустя некоторое время я узнал, однако, что отец не совершил ничего предосудительного и что Андре это было известно так же хорошо, как и всякому. Но Андре считала, что сын относится к ней пренебрежительно; и вот она искала способа смутить его, опозорить, выдумала целый роман относительно показаний, которые она будто бы была призвана дать, и, благодаря частому повторению подробностей этих показаний, сама, может быть, перестала считать их вымышленными. Таким образом у меня не возникало желания видеть Андре такой, как она стала (даже если бы она избавилась от своих мимолетных нелепых антипатий): мне были неприятны ее недоброжелательность и подозрительность, окружавшие каким-то колючим ледяным поясом ее подлинную более пылкую и благородную натуру. Но сведения о моей подруге, которые она одна могла мне дать, слишком меня интересовали, и я не в силах был пренебречь столь редким случаем для их получения. Андре входила, закрывала за собой дверь; они встретили одну приятельницу, о которой Альбертина никогда мне не говорила. – «О чем же они разговаривали?» – «Не знаю, я воспользовалась тем, что Альбертина была не одна, и пошла покупать шерсть». – «Покупать шерсть?» – «Ну да, меня просила Альбертина». – «Лишнее основание не слушаться ее, может быть, она просто хотела от вас отделаться». – «Но она просила меня купить шерсть еще до встречи с приятельницей». – «А-а!» – отвечал я со вздохом облегчения. Тотчас подозрения вновь овладевали мной: а кто поручится, что она не назначила свидание своей приятельнице заранее и не сочинила предлог остаться одной, когда ей захочется? Кроме того, так ли уж я был уверен, что мое давнишнее мнение (согласно которому Андре не всегда говорила мне правду) неосновательно? Андре была, может быть, в стачке с Альбертиной. Мы любим, говорил я себе в Бальбеке, ту женщину, чьи действия возбуждают в нас ревность; мы чувствуем, что если бы она рассказала нам все, мы, пожалуй, легко излечились бы от любви. Напрасно ревность искусно маскируется ревнивцем, она довольно быстро открывается внушающей ее женщиной, которая в свою очередь пускается на хитрости. Она пытается обмануть нас относительно того, что могло бы сделать нас несчастными, и она действительно нас обманывает, ибо каким образом ничтожная фраза выдаст человеку непосвященному заключенную в ней ложь? Мы не отличаем этой фразы от других фраз; произнесенная испуганно, она выслушивается нами без внимания. Впоследствии, оставшись наедине, мы возвратимся к этой фразе, она нам

покажется не совсем согласной с действительностью. Хорошо ли, однако, мы запомнили эту фразу? По-видимому, когда мы о ней думаем, в нас невольно закрадывается сомнение насчет точности нашего воспоминания из числа тех, благодаря которым при известного рода нервных расстройствах мы ни за что не можем припомнить, задвинули ли мы задвижку, и в пятидесятый раз дело обстоит ничуть не лучше, чем в первый; сколько бы раз мы ни совершали известное действие, оно, кажется, никогда не будет сопровождаться точным и облегчающим воспоминанием. Но когда дело касается двери, то по крайней мере в пятьдесят первый раз мы можем ее запереть. Между тем беспокоящая нас фраза находится в прошлом и доносится до нас неясно; мы не в силах заставить ее зазвучать вновь. Тогда мы сосредоточиваем внимание на других фразах, ничего в себе не таящих, но единственным лекарством, которое мы, однако, отвергаем, было бы полное неведение, так как оно не возбуждает желания знать лучше.

Как только ревность обнаружена, она рассматривается вызвавшей ее женщиной как недоверие, которое дает право обманывать. Кроме того, при наших попытках вывести что-нибудь, мы первые прибегаем к лжи, к обману. Андре, Эме клянутся нам держать язык за зубами, но сдержат ли они свое слово? Блок не давал никаких обещаний, потому что ничего не знал; таким образом достаточно Альбертине обменяться несколькими словами с каждым из троих, и она при помощи того, что Сен-Лу назвал бы «перекрестным допросом», узнает, что мы лжем ей, притворяясь равнодушными к ее действиям и нравственно неспособными устраивать за ней слежку. Таким образом, – приходя на смену, когда дело касалось поведения Альбертины, моему привычному безграничному сомнению, слишком неопределенному для того, чтобы оставаться болезненным (для ревности оно то же, что для горя начало забвения, когда успокоение рождается смутностью воспоминаний), – отрывочные ответы, приносимые мне Андре, тотчас же возбуждали новые вопросы; исследуя клочок простиравшейся вокруг меня обширной области, я успевал лишь немножко отодвинуть то непознаваемое, каковым является для нас реальная жизнь другого лица, когда мы пытаемся представить эту жизнь в ее подлинной сущности. Я продолжал расспрашивать Андре, между тем как Альбертина из скромности и желания дать мне (догадывалась ли она об этом?) возможность побеседовать с Андре обстоятельно продолжала переодеваться в своей комнате. «Мне кажется, что дядя и тетя Альбертины меня очень любят», – опрометчиво заявлял я Андре, упуская из виду особенности ее характера.

Ее скучное лицо тотчас же мрачнело; как скисший сироп, оно казалось навсегда помутневшим. Складка ее губ делалась горькой. У Андре ничего не оставалось от юного веселья, которому, подобно всей девичьей «ватаге», несмотря на свою болезненность, она предавалась в год моего первого пребывания в Бальбеке; теперь (правда, с тех пор Андре на несколько лет постарела) это веселье быстро у нее пропало. Но я невольно оживлял ее, когда она собиралась уходить домой обедать. «Один мой знакомый ужасно мне вас расхваливал», – говорил я ей. Тотчас же луч радости озарял ее взор, казалось, что она меня неподдельно любит. Она избегала смотреть мне в лицо, но улыбалась в пространство, и глаза ее становились вдруг совсем круглыми. «Кто же это?» – спрашивала она с наивным и жадным интересом. Я говорил ей и, кто бы это ни оказался, она бывала счастлива.

Потом наступал час, когда ей нужно было уходить, Андре меня покидала. Ко мне возвращалась Альбертина; она была в домашнем наряде, в красивом пеньюаре из крепдешина или в японском платье, описание которых я раздобыл у герцогини Германтской; некоторые дополнительные подробности сообщила мне г-жа Сван в письме, начинавшемся такими словами: «После продолжительного вашего исчезновения я подумала, читая ваше письмо относительно моих tea gown, что получила известие от выходца с того света».

Альбертина была обута в черные туфли с бриллиантами (Франсуаза гневно называла их калошами), похожие на те, что через окно гостиной она видела по вечерам на герцогине Германтской, а немного попозже Альбертина приходила ко мне в домашних туфлях без задка,

иногда из золоченой кожи, иногда подбитых мехом шиншила, вид которых был мне сладок, потому что они являлись как бы знаками (чего нельзя было бы сказать о других туфлях) ее совместной со мной жизни. У нее были также вещи, полученные не от меня, например, красивое золотое кольцо. Я восхищался выгравированными на нем распущенными орлиными крыльями. «Это подарок тети, – сказала мне она. – Все же она иногда бывает ко мне мила. Кольцо это меня старит, потому что было подарено, когда мне исполнилось двадцать лет».

Ко всем этим красивым вещицам у Альбертины было гораздо больше пристрастия, чем у герцогини, так как, подобно всякой помехе к обладанию чем-нибудь (такою была для меня болезнь, делавшая путешествия столь трудными и столь желанными), бедность, более щедрая, чем достаток, дает женщинам нечто гораздо большее, чем туалет, которого они не могут приобрести, – желание этого туалета, являющееся его подлинным знанием, подробным, углубленным. Оба мы, – она, благодаря невозможности приобретать эти вещи, я, из желания доставить ей удовольствие, преподнося их ей, – были похожи на двух студентов, наперед узнающих все о картинах, которые они жаждут посмотреть в Дрездене или в Вене. Тогда как женщины богатые, обладательницы несчетного количества шляп и платьев, похожи на тех посетителей музеев, у которых прогулка по картинной галерее, не предваренная никаким желанием, вызывает только головокружение, усталость и скуку.

Какая-нибудь шапочка, соболье манто, пеньюар от Дусе с рукавами на розовой подкладке приобретали для Альбертины, которая заметила их, позарилась на них и, благодаря исключительности и мелочности, свойственными всякому желанию, одновременно и обособила их от всего остального, окружив пустотой, на фоне которой чудесно обрисовывалась подкладка или шарф, и изучила во всех подробностях, – а также для меня, почему я шел к герцогине Германтской и старался разузнать, в чем заключается особенность, отменность, элегантность манто или пеньюара, и неподражаемый фасон портного-художника, – вещи эти приобретали для нас обоих значительность, очарование, какими они, конечно, не обладали для герцогини, пресыщенной прежде, чем у нее появлялся аппетит, да даже и для меня, если бы я увидел их несколько лет тому назад, сопровождая какую-нибудь элегантную женщину в ее скучных объездах модных портних.

Впрочем, и Альбертина мало-помалу становилась элегантной женщиной. В самом деле, если каждая вещь, которую я заказывал ей таким образом, была в своем роде самой красивой, если она обладала всей изысканностью, которую внесли бы в нее герцогиня Германтская или г-жа Сван, то таких вещей у Альбертины накопилось очень много. Но это было неважно, ибо сначала она полюбила каждую из них в отдельности.

Если мы увлекались каким-нибудь художником, а потом другим, мы в заключение можем горячо восхищаться всем музеем, потому что это восхищение соткано из последовательных увлечений, каждое из которых было исключительным в свое время, но которые в конце концов приладились друг к другу и согласовались.

Она не была, впрочем, легкомысленна, много читала, когда бывала одна, читала и мне вслух, когда бывала со мной. Она стала необыкновенно культурной. Она говорила, заблуждаясь, впрочем: «Я прихожу в ужас при мысли, что без вас я бы осталась дурой. Нет, нет, не возражайте. Вы открыли мне мир идей, о котором я не подозревала, и тем немногим, что я приобрела, я обязана исключительно вам».

Известно, что она говорила то же самое относительно моего влияния на Андре. Кто же из них питал нежные чувства ко мне? И чем были Альбертина и Андре в своем подлинном существовании? Чтобы узнать это, нужно бы было остановить вас, не жить больше в непрестанном ожидании вас, когда вы приходите всегда иными, нужно бы было не любить вас больше, чтобы вас определить, не ведать больше ваших бесконечно разнообразных и всегда сбивающих с толку появлений, о девушки, о луч, мелькающий в вихре трепета, которым мы наполняемся при каждой встрече с вами, едва вас узнавая, – в головокружительной скорости света! Может быть,

мы бы не знали этой скорости, и все казалось бы нам неподвижным, если бы половое влечение не гнало нас к вам, золотые капельки, всегда разные, всегда превосходящие наши ожидания! При каждой новой встрече девушка так мало походит на то, чем она была прошлый раз (разбивая вдребезги, едва только мы замечаем ее, сохранившееся у нас воспоминание о ней и наполнявшее нас желание), что постоянство характера, которым мы ее наделяем, является чисто фиктивным, оно вызвано простым удобством речи. Нам изобразили какую-нибудь красивую девушку милой, любящей, исполненной самых нежных чувств. Наше воображение верит этому на слово, и когда перед нами впервые появляется окаймленный кудрявыми локонами белокурых волос овал ее розового личика, мы почти боимся, что эта слишком добродетельная сестра охладит нас самой своей добродетелью, никогда не станет нашей любовницей, как нам хотелось бы. Во всяком случае, сколько признаний делаем мы ей с первой же минуты нашего знакомства, доверяясь благородству ее сердца, сколько планов замыслиаем мы совместно. Но через несколько дней мы сожалеем о своей доверчивости, ибо розовая девушка, с которой мы познакомились, обращается к нам при второй встрече со словами похотливой фурии. А что касается мелькающих лиц, которые нам рисуются в розовом свете лихорадочного возбуждения, то может статься даже, что черты их изменило какое-нибудь внешнее по отношению к этим девушкам *movimento*: так случилось, вероятно, и с моими бальбекскими приятельницами.

Родные превозносят вам кротость, чистоту какой-нибудь девицы. Но потом они чувствуют, что вы бы предпочли нечто более пряное, и советуют девице вести себя более неприужденно. Но кто же она сама по себе: скромница, развязная? Пожалуй, ни то, ни другое, но способна приобщиться множеству различных возможностей в головокружительном потоке жизни. По отношению к другой девице, вся привлекательность которой заключалась в своего рода неукротимости (которую мы рассчитывали сломить по-своему), – например, по отношению к бесстрашной бальбекской прыгунье, которая почти задевала ногами головы перепуганных стариков, – какое, напротив, разочарование, если, раскрывая нам новое свое лицо, когда мы расточаем ей нежности, вызванные воспоминанием о стольких ее дерзостях в обращении с другими, девица эта с самого начала заявляет нам, что она робкая, что она никогда не умеет сказать ничего умного человеку, которого видит в первый раз, так ей бывает страшно, и что только по прошествии двух недель она будет с вами разговаривать спокойно. Сталь превратилась в вату, вам не над чем больше пытаться свою силу, потому что ваша знакомая сама потеряла всю свою прочность. Сама; но, может быть, по нашей вине, ибо нежные слова, с которыми мы обратились к Суровости, может быть, внушили ей, даже если поведение ее не было рассчитанным, желание быть мягкой.

Все-таки наше огорчение было неразумным лишь отчасти, ибо признательность за такую кротость обязывает нас, пожалуй, больше, нежели восхищение укрощенной жестокостью. Ничего нет невероятного в том, что наступит день, когда даже этих лучезарных девушек наделим мы очень четкими чертами, но произойдет это оттого, что они перестанут нас интересовать, приход их не будет больше для нашего сердца явлением, которого оно ожидало совсем не таким и которое каждый раз оставляет его взволнованным новыми воплощениями. Неподвижность их обусловлена будет нашим равнодушием, которое отдаст их на суд разума. Впрочем, умозаключения его будут лишь немногим категоричнее, ибо, установив, что известный недостаток, преобладающий у одной, счастливо отсутствует у другой, разум увидит затем, что открытый им недостаток уравновешен каким-нибудь драгоценным достоинством. Таким образом устойчивые черты молодых девушек окажутся плодом ошибочного суждения рассудка, который входит в игру, лишь когда наш интерес остыл, и эти устойчивые черты научат нас не больше, чем поразительные образы, постоянно являвшиеся нам в те времена, когда в стремительном водовороте ожидания подруги наши представляли нам ежедневно, еженедельно все в новых и новых обликах, не позволявших нам в неустанном беге определить их, поставить на место. Что же касается наших чувств, то мы уже столько раз говорили о них, и едва ли стоит

повторять, что сплошь и рядом любовь есть лишь ассоциация образа какой-нибудь девушки (которая без этого скоро стала бы для нас невыносимой) с сердцебиением, неотделимым от бесконечного напрасного ожидания и от легкомысленного нарушения девицей данного слова. Все это справедливо не только относительно мечтательных юношей и переменчивых девушек. По прошествии некоторого времени племянница Жюпена изменила, как я узнал потом, свое мнение о Мореле и о г-не де Шарлюс. Мой шофер, желая подогреть ее любовь к Морелю, расписал ей скрипача, как утонченнейшего человека, чему она поспешила, конечно, поверить. С другой стороны, Морель неустанно твердил ей о роли палача, которую г. де Шарлюс играл по отношению к нему и которую девушка объясняла злобностью барона, не догадываясь о его любви. К тому же она видела собственными глазами, что г. де Шарлюс тиранически присутствовал на всех их свиданиях. Еще больше укреплялась она в этом мнении, слыша толки светских женщин о злобности и свирепости барона. И вот, с недавнего времени суждение ее радикально переменялось. Она открыла в Мореле (не перестав любить его после этого) бездну злобы и вероломства, возмещаемую, впрочем, частыми приливами нежности и подлинной чувствительностью, а в г-не де Шарлюс – неподозреваемую и безмерную доброту, смешанную с грубыми выходками, о которых она раньше не знала. Таким образом ее суждение о том, чем были в существе своем скрипач и его покровитель, отличалось такой же неопределенностью, как и мое суждение об Андре, которую, однако, я видел ежедневно, и об Альбертине, которая жила со мной. По вечерам, когда эта последняя не читала мне вслух, она играла мне на рояле, начинала со мной партию в шашки или завязывала разговор, который я прерывал поцелуями. Отношения наши отличались крайней простотой, делавшей их успокоительными. Уже одна незаполненность жизни Альбертины располагала ее к предупредительности и повиновению всем моим требованиям. За этой девушкой, как за пурпурной полосой света, падавшего из-под моих занавесок в Бальбеке в то время, как на берегу играл оркестр, искрились перламутром голубоватые волны моря. Разве не была она на самом деле (вот эта Альбертина, в глубине которой самым привычным образом ютилась такая домашняя мысль обо мне, что после тетки я был, пожалуй, существом, которое она меньше всего отличала от себя) девушкой, которую я увидел впервые в Бальбеке в плоской спортивной шапочке, с глазами пытливыми и насмешливыми, еще незнакомой, крошечной как силуэт, рисующийся на фоне прилива? Когда эти образы, сохраненные в неприкосновенности нашей памятью, вновь всплывают перед нами, мы бываем удивлены их несходством с знакомым нам человеком, нам становится понятно, какую большую работу скульптора совершает ежедневно привычка. В парижской Альбертине, сидевшей у моего камелька, жило еще желание, внушенное мне задорным и ярким кортежем, шумно двигавшимся по пляжу, и, – как Рахиль сохраняла для Сен-Лу, даже когда тот заставил ее бросить театр, обаяние театральной жизни, – так и в этой Альбертине, заточенной в моем доме, вдали от Бальбека, откуда я ее поспешно увез, продолжали существовать взбалмошность, презрение к общественным условностям, суетность и непостоянство, свойственные морским курортам. Она стала такой ручной, что в иные вечера мне не приходилось даже просить ее покинуть свою комнату и прийти ко мне, – та самая Альбертина, за которой все когда-то увивались, которую я с таким трудом догонял, когда она мчалась на велосипеде, и которую даже мальчик, обслуживавший лифт, не мог привести мне, оставив у меня очень мало надежды на то, что она придет, хотя и прождал ее всю ночь. Разве не была Альбертина в Бальбеке как бы первой актрисой озаренного закатным пламенем пляжа, зажигающей ревность при своих выступлениях на этой природной сцене, ни с кем не разговаривающей, толкающей завсегда-таев, верховодившей своими подругами, и разве эта столь желанная всеми актриса не находилась теперь, похищенная мной со сцены, заточенная в моем доме, укрытая от жадных взоров курортной публики, все поиски которой остались бы теперь бесплодными, разве не находилась она то в моей, то в своей комнате, где мирно занималась рисованием или гравировкой?

Да, впервые дни моего пребывания в Бальбеке Альбертина как будто двигалась в плоскости, параллельной той, где жил я сам, но плоскости эти стали сближаться (когда я побывал у Эльстира), а затем и совпадать, по мере того как мои отношения с ней в Бальбеке, в Париже, затем снова в Бальбеке делались более интимными. Впрочем, между двумя картинами Бальбека, оставшимися у меня от первого и второго моего пребывания там и составленными из тех же вилл, откуда выходили те же девушки к тому же морю, какая была разница! В подругах Альбертины моего второго пребывания в Бальбеке, так хорошо мне известных, с их достоинствами и недостатками, так четко отпечатанными на их лицах, мог ли узнать я тех задорных и таинственных незнакомок, которые заставляли когда-то биться мое сердце, открывая скрипящую по песку дверь своей дачи и задевая по пути колышущиеся тамариски! Их большие глаза с тех пор запали отчасти потому, конечно, что они перестали быть детьми, но также и потому, что эти восхитительные незнакомки, пленительные актрисы романтического первого года, о которых я неустанно собирал сведения, не были больше окружены в моих глазах тайной. Они стали послушными исполнительницами моих прихотей, эти незатейливые девушки в цвету, и я немало гордился тем, что мне удалось украдкой от всех сорвать с них самую пышную розу.

Между двумя столь не похожими одна на другую декорациями Бальбека помещалось несколько парижских лет, длинная лента которых была испещрена столькими визитами Альбертины. Я видел ее в различные годы моей жизни в различных положениях, дававших мне почувствовать красоту перемежающихся пространств, тех долгих сроков в разлуке с ней, на прозрачном фоне которых жившая со мной розовая женщина обрисовывалась таинственными тенями все мощнее и рельефнее. Ее рельефность обусловлена была, впрочем, не только наложением друг на друга последовательных образов, оставленных во мне Альбертиной, но и напластованием неожиданных для меня превосходных качеств ума и сердца, с одной стороны, и недостатков характера, с другой, которые Альбертина, в процессе какого-то самопроизрастания, саморазмножения, красочного цветения плоти, прибавила к своему естеству, когда-то ничтожному, а нынче с трудом поддающемуся исследованию. Ведь живые люди, даже те, о которых мы так много мечтали, что они стали казаться нам чем-то вроде картины, вроде фигур Беноццо Гоццолли, выделяющихся на зеленоватом фоне, и мы склонны были уже считать, что все их изменения зависят только от перемены пунктов, с которых мы их рассматриваем, от перемены отделяющего нас от них расстояния и перемены освещения, – ведь живые люди, меняясь по отношению к нам, меняются также и в самих себе, ведь произошло обогащение, уплотнение и увеличение объема фигуры, когда-то так четко рисовавшейся на фоне моря. Впрочем, не только предвечернее море жило для меня в Альбертине, но иногда также дремوتный плеск волн у песчаного берега в лунные ночи.

В самом деле, в иные дни, когда я вставал с намерением поискать какую-нибудь книгу в кабинете отца, подруга моя, испросив у меня позволение прилечь в это время, бывала так утомлена беготней на свежем воздухе все утро и весь день, что, даже если я покидал свою комнату только на одну минуту, по возвращении я находил Альбертину уснувшей и не будил ее.

Растянувшись во весь рост на моей кровати в позе непринужденной, которую невозможно было бы придумать, она напоминала мне длинный стебель цветка, положенный на постель, да так и было в действительности: способность мечтать, которой я обладал только в ее отсутствие, снова возвращалась ко мне в такие мгновения, проведенные возле нее, как если бы во время сна она становилась растением. Благодаря этому сон ее осуществлял в некоторой степени возможность любви; в одиночестве я мог размышлять о ней, но мне ее не доставало, я ею не обладал; в ее присутствии я разговаривал с нею, но я был слишком отвлечен от себя и не мог размышлять. Когда же она спала, мне не нужно было разговаривать, я знал, что она не смотрит на меня, у меня не было надобности жить на поверхности своего существа.

Закрывая глаза, теряя сознание, Альбертина сбрасывала с себя одну за другой разнообразные человеческие личины, которые обольщали меня со дня моего знакомства с нею. Она была одушевлена теперь лишь бессознательной жизнью растений, деревьев, жизнью более отличной от моей, более чудесной, и однако же принадлежавшей мне в большей степени. Ее «я» не ускользало каждое мгновение, как во время моих разговоров с нею, через лазейки невысказанных мыслей и мечтательно устремленных куда-то взглядов. Она вбирала в себя все, что блуждало вне ее, она укрывалась, замыкалась, находила выражение в своем теле. Устремляя на нее взгляд, заключая ее в объятия, я испытывал впечатление, будто вся она принадлежит мне, какого впечатления у меня не было, когда она бодрствовала. Жизнь ее была подчинена мне, овеивала меня своим легким дыханием.

Я слушал это таинственное излучение, струистое и мягкое, как морской зефир, фееричное, как сияние луны, которым был ее сон. Пока он длился, я мог мечтать о ней и в то же время смотреть на нее, а когда этот сон становился более глубоким, трогать ее, целовать. То, что я испытывал тогда, было любовью к чему-то столь же чистому, столь же нематериальному в своих чувственных качествах, столь же таинственному, как те неодушевленные создания, какими являются красоты природы. И в самом деле, как только она засыпала немного глубже, она переставала быть только растением, которым была; сон ее, наполнявший меня мечтаниями и бодрящей негой, которая никогда бы не утомила меня и которой я бы мог упиваться бесконечно, был для меня целым пейзажем. Сон ее простирался вокруг меня нечто столь же спокойное, столь же чувственно прелестное, как те лунные ночи в бальбекской бухте, ставшей зеркальной как озеро, когда ветви едва колышутся, когда, растянувшись на песке, вы без конца готовы слушать шум отлива.

Входя в комнату, я замирал на пороге, не смея шелохнуться, и до меня доносился только шум ее дыхания, вылетавшего из губ ее через правильно чередующиеся промежутки, тоже подобно отливу, но отливу более глухому и мягкому. И в момент, когда мое ухо воспринимало это божественное дуновение, мне казалось, что в нем сгущена была вся личность, вся жизнь прелестной пленницы, лежавшей передо мной. По улице с шумом проезжали экипажи, а лицо ее оставалось столь же неподвижным, столь же чистым, ее дыхание столь же легким – простым выделением необходимого воздуха. Затем, видя, что сон ее не будет нарушен, я осторожно подвигался вперед, я садился на стул, стоявший возле кровати, а потом и на самую кровать.

Я провел с Альбертиной много прелестных вечеров за разговорами, за игрой, но они не могли сравниться с теми минутами, когда я смотрел на ее сон. Пусть во время болтовни, во время игры в карты она отличалась непринужденностью, которой могла бы позавидовать лучшая актриса: непринужденность, являемая мне ее сном, была более высокого порядка. Ее коса, ниспадавшая вдоль розового лица, лежала рядом с ней на кровати, и отделившаяся от волос прямая прядь создавала иногда тот же эффект перспективы, что и хилые бледные деревца, ровные стволы которых виднеются в глубине рафаэлевских картин Эльстира. Если губы Альбертины были сомкнуты, зато с места, где я сидел, веки ее казались настолько приоткрытыми, что я почти готов был спросить себя, да спит ли она взаправду. Все же эти опущенные веки сообщали лицу ее совершенную непрерывность, не нарушаемую глазами. Есть люди, лицо которых приобретает неожиданную красоту и величие, стоит им только закрыть глаза.

Я измерял глазами Альбертину, лежавшую у моих ног. По временам легкий неизъяснимый трепет пробегал по ней, подобный колыханию сонной листвы, которую волнует несколько мгновений внезапно налетевший ветерок. Она прикасалась к волосам, потом, не сделав того, что ей хотелось, снова подносила к ним руку, и движения ее были так последовательны, так сознательны, что я был убежден: вот сейчас она проснется. Ничуть; она снова становилась спокойной во сне, которого она не покидала. Больше она не шевелилась, положив руку себе на грудь с такой ребяческой непринужденностью, что мне приходилось, смотря на нее, сдерживать улыбку, которая появляется у нас при виде серьезности, невинности и грации маленьких детей.

Я знал несколько Альбертин в одной, и мне казалось, будто я вижу еще и других Альбертин, почивающих возле меня. Ее изогнутые дугой брови, какими я их никогда не видел, окружали выпуклости ее век, как уютное гнездышко зимородка. Расы, атавизмы, пороки покоились на ее лице. При каждом повороте головы она творила новую женщину, часто для меня неожиданную. Мне казалось, что я обладаю не одной девушкой, а несчетным их числом. Ее дыхание, становившееся понемногу все более глубоким, мерно приподнимало теперь ее грудь, а на груди ее скрещенные руки, ее жемчуга, перемещаемые по-разному одинаковым движением, как те лодки, те причальные цепи, что качаются от движения волн. Тогда, чувствуя, что сон ее в самом разгаре, что я не наткнусь на рифы сознания, покрытые теперь глубокой водой непробудного сна, я смело подлетал бесшумными прыжками к кровати, ложился рядом с ней, одной рукой обвивал ее стан, прижимался губами к ее щеке, к ее сердцу и ко всем уголкам ее тела, в то время как другая моя рука оставалась свободной и, подобно жемчугам, тоже приподнималась дыханием Альбертины; я сам слегка перемещался ее мерным движением; я уплывал на волнах сна Альбертины. Иногда сон ее давал мне вкушать наслаждение менее чистое. Для этого мне не нужно было совершать ни одного движения, просто я свешивал свою ногу с ее ноги, как весло, которое волочится в уключине и на которое мы чуть нажимаем по временам, заставляя его слегка покачиваться, наподобие судорожных взмахов крыла спящих на открытом воздухе птиц. Я выбирал, чтобы смотреть на нее, тот ракурс ее лица, который мне никогда не удавалось видеть и который был так прекрасен.

Для нас, в сущности, понятно, что буквы полученного нами письма являются почти одинаковыми и рисунок их достаточно отличается от нашего знакомого, так что они образуют как бы вторую личность. Но гораздо более странно, что одна женщина может сливаться, как Розита и Дудика, с другой женщиной, своеобразная красота которой заставляет заключать об ином характере, и что при желании увидеть одну, мы должны смотреть в профиль, а при желании увидеть другую – в лицо. Усиливавшийся шум дыхания Альбертины мог внушить иллюзию, будто она задыхается от наслаждения, и, когда мое собственное наслаждение иссякало, я мог ее целовать, не боясь прервать ее сон. В такие минуты мне казалось, что мое обладание ею было более полным, словно она была лишеной сознания и несопротивляющейся вещью безгласной природы. Меня не тревожили слова, которые слетали по временам с ее уст во время сна, смысл их ускользал от меня, да к тому же, какому бы неизвестному они ни относились, рука ее, оживляемая иногда легким трепетом, сжималась на мгновение на моей руке, на моей щеке. Мое наслаждение ее сном было бескорыстным, успокоительным, вроде того, как я целые часы слушал рокот волн.

Быть может, только люди, причиняющие нам большие страдания, способны в часы облегчения доставить тот целительный покой, который дает нам природа. Мне не надо было ей отвечать, как в минуты, когда мы разговаривали, и даже когда я мог молчать, что я и делал во время ее рассказов, все равно, слушая ее речи, я не способен был так глубоко в нее проникнуть. Продолжая слушать, подбирать каждый миг умиротворяющее журчанье, словно неуловимый ветерок ее чистого дыхания, я имел перед собой, для себя, всю физиологическую жизнь Альбертины; я готов был смотреть на нее, слушать ее так же долго, как я лежал когда-то на морском берегу, в лунную ночь.

Иногда мне чудилось, что море делается бурным, что буря дает себя чувствовать даже в бухте; она всхрипывала, и я бросался к ней слушать ее шумное дыхание. Иногда, если ей бывало очень жарко, она снимала, уже почти во сне, кимоно и бросала его мне на кресло. И вот, когда она спала, я говорил себе, что все ее письма лежат во внутреннем кармане этого кимоно, куда она всегда их клала. Подписи на письме, назначенного свидания было бы достаточно для доказательства ее лжи или для рассеяния моих сомнений. Когда я чувствовал, что сон Альбертины достаточно глубок, я покидал место у ее кровати, откуда долго уже созерцал ее, застыв в неподвижности, и делал шаг или два, охваченный жгучим любопытством, чувствуя тайну ее

жизни, незащитно лежащей в кармане брошенного на кресло мохнатого кимоно. Может быть, я делал этот шаг также потому, что неподвижное созерцание спящей становилось под конец утомительным. Таким способом, на цыпочках, беспрестанно оборачиваясь, чтобы убедиться, не проснулась ли Альбертина, я добирался до кресла. Затем я останавливался и долго смотрел на кимоно, подобно тому как смотрел перед этим на спящую Альбертину. Но (может быть, я поступил опрометчиво) ни разу не прикоснулся я к кимоно, не засунул руку в карман, не взглянул на письма. В конце концов, видя, что решимости у меня не хватит, я поворачивался, возвращался на цыпочках к кровати Альбертины и снова принимался созерцать спящую, от которой мне нечего было ждать признаний, между тем как я видел на ручке кресла кимоно, которое мне бы рассказало, может быть, многое. И подобно тому, как парижане платят сто франков в день за комнату в бальбекском отеле, чтобы дышать морским воздухом, я находил вполне естественным тратить еще больше на Альбертину, лишь бы только чувствовать ее дыхание на своей щеке, в ее устах, которые я приоткрывал языком, ощущая на нем ток ее жизни.

Но этому удовольствию видеть ее спящей, которое было столь же сладким, как удовольствие чувствовать ее живой, полагало конец другое – удовольствие видеть ее пробуждение. Это было то самое удовольствие, которое я получал от сознания, что она живет у меня, но более глубокое и более таинственное. Да, в полдень, когда она сходила с экипажа, мне было приятно, что она возвращается в мою квартиру. Но еще приятнее мне было, когда, поднявшись из глубины сна по последним ступенькам лестницы сновидений, она возрождалась к сознанию и к жизни в моей комнате, спрашивала себя удивленно: «где я?» – и, увидя окружающие ее предметы, лампу, от света которой она слегка щурилась, могла ответить себе, что она дома, удивившись, что она проснулась у меня. В этот первый восхитительный миг неуверенности мне казалось, будто мне вновь достается обладание ею, обладание более полное, ибо вместо того, чтобы войти после прогулки в свою комнату, Альбертину охватывала и заключала в себе моя комната, как только она узнавала ее, причем глаза моей подруги не обнаруживали ни малейшей тревоги, оставаясь столь же спокойными, словно она вовсе не спала.

Неуверенность пробуждения, выданную ее молчанием, совсем нельзя было прочесть в ее взгляде. Как только к ней возвращался дар слова, она говорила «мой» или «мой милый», за которыми следовало мое имя, что звучало бы, если дать рассказчику то же имя, какое носит автор этой книги: «мой Марсель». Я не позволял после этого родным называть меня также милым, чтобы не лишать сладостные слова, сказанные мне Альбертиной, их драгоценного качества быть уникай. Произнося их, она делала гримаску, которая сама собой переходила в поцелуй. Она просыпалась так же быстро, как быстро она заснула.

Как и мое перемещение во времени, как и лицезрение сидящей возле меня девушки, освещенной лампой совсем иначе, чем освещало ее солнце, когда она проходила по берегу моря, это реальное обогащение, это подчиненное внутренним законам развитие Альбертины вовсе не было главной причиной различия между моим теперешним способом видеть ее и моим способом видеть ее сначала в Бальбеке. И большее число лет могло бы отделять друг от друга два образа, не произведя столь полного изменения; это коренное изменение произошло внезапно, когда я узнал, что моя подруга была почти воспитанницей подруги м-ль Вентейль. Если некогда меня приводила в восторг мысль увидеть тайну в глазах Альбертины, то теперь я бывал счастлив лишь в минуты, когда из этих глаз, и даже из этих щек, выразительных, как глаза, иногда таких нежных, но чаще угрюмых, мне удавалось изгнать всякую тайну.

Образ, которого я искал, на котором я отдыхал, созерцая который я хотел бы умереть, не был больше образом Альбертины, живущей неведомой мне жизнью, но Альбертины, известной мне до мельчайших подробностей (поэтому-то любовь моя не могла быть длительной, перестав быть несчастной, ибо, согласно определению, она теперь не удовлетворяла потребности в тайне), – Альбертины, не отражающей далекого и чуждого мне мира, но желающей одного только, были мгновения, когда мне казалось, что так и есть на самом деле, – быть со мной,

во всем похожей на меня, – Альбертины, выражающей как раз то, что было моим, а не неведомым. Когда любовь родилась таким образом из мучительного часа, доставленного нам женщиной, из неуверенности, удастся ли нам удержать ее или она ускользнет от нас, то такая любовь носит печать создавшего ее переворота, она мало напоминает то, что мы видели до тех пор, когда думали об этой самой женщине. Мои первые впечатления от Альбертины на берегу волн могли в какой-то малой части оставаться в моей любви к ней: в действительности эти прежние впечатления занимают лишь ничтожное место в любви такого рода; в отношении своей силы, своей мучительности, своей потребности теплоты и своей тяги под кров мирных, успокоительных воспоминаний, где нам так хотелось бы пребывать, больше ничего не узнавая о той, кого любишь, даже если бы были какие-нибудь неприятные для нас вещи, – больше того: имея дело только с этими прежними впечатлениями, – такая любовь соткана из совсем другого материала!

Иногда я гасил свет перед тем, как она входила. Она ложилась рядом со мной в темноте, едва озаряемая светом головешки. Мои руки, мои щеки одни только узнавали Альбертину, глаза же не видели ее, глаза мои, которые так часто страшились найти ее изменившейся. Так что благодаря этой слепой любви она чувствовала себя, может быть, омытой большей нежностью, чем обыкновенно. В другие вечера я раздевался, ложился, Альбертина же садилась на постель, и мы продолжали нашу партию в шашки или наш разговор, прерываемый поцелуями; и в разгар желания, которое одно только пробуждает в нас интерес к жизни и личности какой-нибудь женщины, мы остаемся до такой степени верными нашей природе (покидая зато одну за другой различных женщин, которых мы последовательно любили), что однажды, увидя себя в зеркале в то мгновение, когда я целовал Альбертину, называя ее милой девочкой, я был поражен печальным и страстным выражением моего лица, похожим на то, каким оно было когда-то возле Жильберты, которой я больше не помнил, и каким оно будет, может быть, когда-нибудь возле другой, если мне случится забыть Альбертину; выражение это внушило мне мысль, что я не столько оказывал внимание определенному лицу (инстинкту угодно, чтобы мы рассматривали женщину, с которой мы имеем дело, как единственно подлинную), сколько совершал обряд пламенного и скорбного поклонения, приносимого мной как жертва на алтарь женской юности и красоты. Однако к этому желанию, воздающему жертвенными приношениями почет юности, а также к бальбекским воспоминаниям примешивалось, в моей потребности хранить таким образом Альбертину каждый вечер возле себя, нечто чуждое до сих пор моей жизни, по крайней мере любовной, хотя и не вовсе новое для меня.

То была жажда успокоения, подобной коей я не испытывал со времени далеких комбрейских вечеров, когда моя мать, склонившись над моей кроватью, приносила мне покой поцелуем. В те времена я был бы, вероятно, очень удивлен, если бы мне сказали, что я, в сущности, человек недобрый, и особенно, что я буду пытаться когда-нибудь лишить удовольствия других. Должно быть, я знал себя тогда очень плохо, так как мое удовольствие прочно владеть Альбертиной, держа ее у себя дома, было в гораздо меньшей степени удовольствием положительным, чем удовольствием уединить от общества, где каждый мог наслаждаться ею в свою очередь, расцветающую девушку, которая хотя и не доставляла мне большой радости, зато по крайней мере лишала этой радости других. Честолюбие, слава оставили бы меня равнодушным. Еще менее способен я был испытывать ненависть. Однако плотская любовь все же была для меня торжеством над столькими соперниками. Но еще раз повторяю, прежде всего она была успокоением.

До возвращения Альбертины я мог сколько угодно сомневаться в ней, воображать ее в комнате Монжувена, – как только она садилась в пеньюаре против моего кресла или же, как бывало чаще всего, ко мне на кровать, я поверял ей мои сомнения, в самоуничтожении верующего, творящего свою молитву, вручал их ей, чтобы она меня освободила от них. Пусть, свернувшись шаловливо в клубочек на моей кровати, весь вечер играла она со мной, как большая

кошка; пусть ее розовый носик, казавшийся мне еще меньше от кокетливого взгляда, придавал ей лукавство, свойственное некоторым пухленьким женщинам, и задорная рожица покрывалась горячим румянцем; пусть прядь длинных черных волос падала ей на нежно-розовую восковую щеку, и, полузакрыв глаза, раскидав руки, она как будто говорила мне своей позой: «Делай со мной что хочешь», – когда перед уходом она придвигалась с целью пожелать мне покойной ночи и я целовал с обеих сторон ее могучую шею, которую никогда не находил в те времена ни слишком смуглой, ни слишком зернистой, шея эта приобретала для меня как бы родственную теплоту, словно солидные ее качества имели какую-то связь с прямодушием и добротой Альбертины.

Потом Альбертина в свою очередь прощалась со мной, тоже целуя меня в шею, и ее волосы ласкали мое лицо, как крыло с острыми и нежными перьями. Сколь ни несравнимы были эти поцелуи мира, Альбертина, вкладывая мне в рот свой язык, как бы наделяла меня дарами Святого Духа, давала мне причастие, отпускала мне известное количество покоя, почти столь же сладкого, как тот, что приносила мне моя мать, прикладывая по вечерам в Комбре губы к моему лбу.

– «Пойдете вы с нами завтра, злюка?» – спрашивала она меня перед уходом. – «Куда вы собираетесь?» – «Это будет зависеть от погоды и от вас. Написали ли вы по крайней мере что-нибудь, миленький? Нет? В таком случае очень жаль, что вы не вышли прогуляться. Скажите, кстати, сейчас, когда я возвратилась, узнали вы мои шаги, догадались, что это я?» – «Конечно. Разве можно ошибиться, разве можно не узнать из тысячи шагов моей дурочки? Пусть она позволит мне разуть себя перед тем, как идти спать, это доставит мне большое удовольствие. Какая вы милая и розовая в этих белоснежных кружевах».

Таков был мой ответ; среди выражений, продиктованных страстью, проскальзывали другие, свойственные моей матери и бабушке, ибо с течением времени я все больше делался похожим на всех своих родных, на моего отца, который, – совсем по-иному, конечно, потому что вещи, повторяясь, претерпевают все же большие изменения, – всегда так интересовался погодой; и не только на отца, но, к моему изумлению, также и на тетю Леонию. Без этого Альбертина служила бы для меня только лишним поводом выходить из дому, чтобы не оставлять ее одну, без наблюдения. Да, на тетю Леонию, совсем законсервированную в благочестии, с которой, я бы чем угодно поклялся, у меня не было ни единой общей черты: столь падкий до наслаждений, я по внешности был совсем не похож на эту маньячку, которая не знала даже, что такое наслаждение, и с утра до вечера твердила молитвы, перебирая четки; тогда как я страдал от невозможности вести жизнь писателя, она была единственной представительницей нашей семьи, которая никак не могла понять, что чтение вовсе не есть «праздное» времяпрепровождение, вследствие чего даже на пасхальных каникулах чтение было разрешено в воскресенье, когда запрещалось всякое серьезное занятие, так как этот день следовало праздновать только молитвой. И вот, хотя я постоянно находил причину своей бездеятельности в каком-нибудь недомогании, так часто заставлявшем меня оставаться в постели, некое существо (не Альбертина, не существо, мною любимое, но существо, имевшее надо мной большую власть, чем существо любимое) переселилось в меня и вело себя так деспотично, что заглушало иногда мои ревнивые подозрения или по крайней мере мешало мне пойти проверить, обоснованы они или нет, – этим существом была тетя Леония. Итак, я не только карикатурно уподоблялся моему отцу вплоть до того, что не довольствовался, как он, посматриванием на барометр, но сам обратился в живой барометр, я не только, повинаясь распоряжениям тети Леонии, оставался дома наблюдать погоду из моей комнаты или даже из своей постели, – даже разговаривал я теперь с Альбертиной то как ребенок, каким я был в Комбре, разговаривая со своей матерью, то так, как обращалась ко мне бабушка.

Когда мы перешагнули известный возраст, душа ребенка, которым мы были, и душа покойников, от которых мы произошли, полными пригоршнями отсыпает нам свои богатства

и свои роковые недостатки, требуя сотрудничества с нашими новыми чувствами, в которых мы разрушаем их прежний образ, переплавляя его в некое оригинальное произведение. Так, все мое прошлое, начиная с самых ранних лет, и даже прошлое моих родных, примешивало к нечистой моей любви к Альбертине нежные чувства, одновременно сыновние и материнские. В нашей жизни наступает пора, когда нам приходится принять всех наших родных, прибывших издалека и собравшихся вокруг нас.

Прежде чем Альбертина повиновалась мне и позволяла снять свои туфли, я приоткрывал ее рубашку. Ее маленькие высоко посаженные груди были такие круглые, что казались не столько составной частью ее тела, сколько созревшими на нем двумя плодами; и ее живот (прикрывая место, которое у мужчины обезображено как бы крюком, оставшимся в расчищенной статуе) замыкался на соединении бедер двумя створками, кривизны столь же успокоительной, столь же умирающей, столь же монастырской, как кривизна горизонта, когда зашло солнце. Она снимала туфли и ложилась возле меня.

О, извечные положения Мужчины и Женщины, в которых ищут соединиться в невинности первых дней и с податливостью глины то, что было разъединено творением, в которых Ева изумлена и покорствуется Мужчине, возле которого она пробуждается, как сам он, еще одинокий, покорствуется Богу, его создавшему. Альбертина закидывала руки за черные волосы, ляжка ее надувалась, нога изгибалась наподобие лебединой шеи, которая вытягивается, поворачивается и возвращается к исходному пункту. Когда она лежала совсем боком, лицо ее (такое доброе и прекрасное, если смотреть на него спереди) обрисовывалось в ракурсе, которого я не мог выносить, искривлялось наподобие некоторых карикатур Леонардо и как будто выдавало злобу, корыстолюбие, плутовство шпионки, присутствие которой в моем доме ужаснуло бы меня и которая казалась разоблаченной этими профилями. Тотчас же я брал руками лицо Альбертины и его поворачивал.

– «Будьте милым, обещайте мне, что будете работать, если останетесь завтра дома», – говорила моя подруга, надевая рубашку. – «Да, но не надевайте еще ваш пеньюар». Иногда я в заключение засыпал рядом с ней. В комнате становилось холодно, нужно было подложить дров в камин. Я пробовал найти грушу звонка за спиной, перебирал все медные прутья, между которыми она висела, и все не мог ее нащупать; Альбертина соскакивала в это время с кровати, чтобы Франсуаза не увидела нас друг возле друга, а я говорил ей: «Нет, побудьте еще секунду, я не могу найти грушу».

Мгновения сладкие, радостные, с виду невинные, в которых накапливается, однако, не подозреваемая нами возможность тяжелых бед, отчего и жизнь влюбленных полна бывает самых резких контрастов: вслед за светлыми и радостными минутами вдруг проливается дождь из серы и горящей смолы; не имея мужества извлечь урок из несчастья, мы немедленно вновь отстраиваем себе жилище на стенках кратера, откуда не может извергнуться ничего, кроме катастрофы. Я был беспечен, подобно всем людям, считающим свое счастье долговременным.

Именно потому, что нежность эта была необходимым условием возникновения горести – и будет по временам возвращаться, чтобы ее успокаивать, – мужчины бывают искренни с другими и даже с собой, прославляя доброту к ним какой-нибудь женщины, хотя если копнуть глубже, в недрах их связи постоянно витает тайная, никому не высказываемая мучительная тревога, обнаруживаемая лишь невзначай сорвавшимися у них словами, расспросами, справками. Но так как тревога эта не могла бы родиться без предварительной нежности, да даже и впоследствии возвраты нежности необходимы, чтобы делать выносимыми страдания и предотвращать размолвки, то сокрытие тайного ада, которым является совместная жизнь с какой-нибудь женщиной, вплоть до похвальбы, будто интимное общение с нею упоительно, такое сокрытие в порядке вещей, оно выражает связь между действием и причиной, один из способов возникновения страдания вообще.

Я уже не удивлялся, что Альбертина живет у меня и не смеет выйти завтра иначе, как со мной или под надзором Андре. Эти привычки совместной жизни, эти основные линии, очерчивающие мое существование, внутрь которых не мог проникнуть никто, кроме Альбертины, а также (в будущем, еще не известном мне плане моей дальнейшей жизни, похожем на план, набрасываемый архитектором для построек, которые будут начаты много времени спустя) линии дальние, параллельные первым и более широкого охвата, которые намечали во мне, как уединенное жилище, немного суровую и монотонную формулу моих будущих увлечений, — были в действительности проведены той бальбекской ночью, когда в вагоне узкоколейки, после признания Альбертины, где она воспитывалась, я пожелал во что бы то ни стало оградить ее от некоторых влияний и помешать ей провести вдали от меня несколько дней. Проходили дни за днями, привычки стали машинальными, но если бы кто спросил у меня, что означает затворничество, на которое я обрек себя, вплоть до того, что перестал даже ходить в театр, я мог бы ответить (хоть и не почувствовал бы желания это сделать), что, подобно тем обрядам, значение которых пытается открыть История, оно обязано своим происхождением мучительной тревоге, охватившей меня однажды вечером, и потребности доказать себе самому что женщина, прискорбное детство которой мне стало известно, впредь лишена будет возможности, даже если пожелает, подвергнуться таким же искушениям. Лишь изредка вспоминал я теперь об этих возможностях, но все же они, должно быть, смутно присутствовали в моем сознании. Факт их разрушения с каждым днем — или ежедневно предпринимаемая попытка их разрушить — был, должно быть, причиной, почему мне так сладко было целовать щеки, ничуть не более красивые, чем множество других щек; под всяким сколько-нибудь глубоким чувственным наслаждением кроется угроза постоянной опасности.

* * *

Я обещал Альбертине засесть за работу, если мне не захочется выйти с нею, но на другой день дом, словно воспользовавшись нашим сном, волшебным переносился куда-то, и я просыпался при другой погоде, в другом климате. А можно ли работать в момент приезда в новую страну, когда нужно приспособляться к непривычным условиям? Между тем каждый новый день был для меня новой страной. Как было узнать мне даже лень мою в новых формах, которые она принимала?

В дни непоправимо ненастные одно лишь сиденье дома, под шум ровного, обложного дождя, окружавшего скользкой негой, успокоительной тишиной, обладало занимательностью морского путешествия, в ясные же дни, лежа неподвижно в постели, я похож был на ствол дерева, вокруг которого медленно движется тень.

А бывало еще и так, что при первых звуках колоколов соседнего монастыря, редких, как ранние богомолки, едва белеющие на сером небе бесформенными пятнами весеннего дождя с крупой, которые плавилась и разгонялись теплым ветром, я различал один из тех бурных, непостоянных и мягких дней, когда по крышам, смоченным внезапным ливнем и высушенным порывом ветра или беглым лучом, лоснятся под солнцем переливчатые шиферные плиты, окрашиваясь в радужные цвета; один из тех дней, которые так наполнены переменами погоды, воздушными происшествиями, грозами, что ленивец не считает их потерянными, будучи всецело поглощен неутомимой деятельностью, развиваемой как бы от его лица стихиями; дней, подобных периодам мятежа или войны, которые не кажутся пустыми школьнику, пропускающему уроки, потому что, проходя мимо Дворца Правосудия или читая газеты, он питает иллюзию, будто развернувшиеся события, содействуя его умственному развитию, служат заменой невыученных уроков и оправданием его праздности; дней, с которыми можно сравнить дни резких переломов в нашей жизни, когда человек, никогда ничего не делавший, надеется, что при счастливом исходе ему удастся приобрести навык к труду; таким бывает, например, утро

дуэли, которая должна будет произойти в очень опасных условиях; в тот миг, когда он рискует потерять жизнь, он вдруг познает ее цену: как хорошо он мог бы воспользоваться ею, чтобы начать литературную работу или просто предаться удовольствиям, между тем как до сих пор он совсем не умел ею наслаждаться. «Если только я не буду убит, – говорит он себе, – как энергично примусь я за работу немедленно же по возвращении домой и с какой жадностью буду я развлекаться».

Жизнь действительно вдруг приобрела в его глазах большую цену, потому что он вкладывает в жизнь все, что, по его мнению, она может дать, а не то небольшое, что он обыкновенно брал у нее. Он видит ее в свете своего желания, а не такой, как – ему известно это из собственного опыта – он умел делать ее, тусклой и серенькой! На мгновение она наполнилась работой, путешествиями, горными экскурсиями, всеми теми превосходными вещами, которые, как он уверяет себя, гибельный исход этой дуэли может сделать недоступными для него, тогда как они были такими и до возникновения вопроса о дуэли, по вине его дурных привычек, которые, не будь этой дуэли, продолжали бы действовать. Он возвращается домой даже не раненый, но вновь находит прежние препятствия к удовольствиям, экскурсиям, путешествиям, ко всему тому, что, как он опасался несколько минут тому назад, будет навсегда похищено у него смертью: их похищает у него жизнь. Что же касается работы, то – так как следствием исключительных обстоятельств бывает еще большее укрепление привычек человека, то есть деятельности у труженика, лени у бездельника – он увольняет себя в отпуск.

Я поступал подобно ему, поступал так, как поступал всегда после давнишнего своего решения приступить к работе; я принял его давным-давно, а мне казалось, что оно у меня сложилось только вчера, так как я считал проходившие один за другими дни недействительными. Точно так же относился я и к описываемому, бездейственно созерцая его ливни и на мгновение выглядывающее солнце и обещая себе засесть за работу с завтрашнего дня. Но я был уже не тот под безоблачным небом; золотой звон колоколов был не только насыщен светом, как мед, но вызывал также ощущения света и приторного вкуса варенья (так как в Комбре он часто запаздывал, словно оса на нашем столе, с которого уже было убрано). В этот сверкающий солнечный день лежать до вечера с закрытыми глазами было столь же позволительно, естественно, здорово, благотворно, уместно, как держать шторы опущенными во время жары.

Как раз в такую погоду, в начале второго пребывания в Бальбеке, слушал я скрипки оркестра среди голубоватых наплывов растущего прилива. Насколько полнее обладал я Альбертиной сегодня! Бывали дни, когда звон колокола, отбивавшего часы, нес на сфере своего звучания словно пласт влаги или света, такой свежий, так мощно развернутый, что похоже было на перевод для слепых или, если угодно, на музыкальный перевод прелести дождя или прелести солнца. Настолько, что, лежа в постели с закрытыми глазами, я говорил себе, что все может быть переложено на музыку и что вселенная, состоящая только из звуков, может быть столь же разнообразной, как и вселенная зрительная. Медленно проплывая день за днем, словно в лодке, и видя встающие передо мной все новые волшебные воспоминания, – которых я не искал, которые мгновение назад были мне невидимы, которые память рисовала мне, одно за другим, не предоставляя мне права выбора, – я лениво продолжал по этим ровным просторам солнечную свою прогулку.

Утренние бальбекские концерты происходили не так давно. А между тем в то сравнительно близкое время мне было мало дела до Альбертины. В первые дни по приезде я даже не знал, что она в Бальбеке. Кто же мне об этом сказал? Ах да, Эме! Было так же солнечно, как сегодня. Эме обрадовался, увидя меня. Но он не любит Альбертины. Не могут же все любить ее. Да, это он сообщил мне, что Альбертина в Бальбеке. Откуда же он узнал об этом? Да, он встречал ее, он нашел, что у нее дурные манеры. Вдруг рассказ Эме предстал мне под другим углом, чем тогда, в Бальбеке, и мысли мои, до сих пор безмятежно и радостно плывшие по этим благодатным водам, мгновенно разлетелись вдребезги, словно наткнувшись на невиди-

мую опасную мину, предательски заложенную на этом участке моей памяти. Что подразумевал он под дурными манерами? Я понял их тогда как манеры вульгарные, потому что, наперед ему возражая, я объявил, что Альбертина женщина изысканная. Но что, если он подразумевал ее гоморрские наклонности? Она была с приятельницей, может быть, они шли обнявшись, бросали взгляды на других женщин и действительно обладали «манерами», которых я никогда не замечал у Альбертины в моем присутствии. Кто была та приятельница, где ее встречал Эме, эту ненавистную Альбертину?

Я старался припомнить рассказ Эме во всех подробностях, чтобы посмотреть, может ли он быть как-нибудь связан с тем, что рисовалось моему воображению, или же Эме подразумевал только вульгарные манеры. Но тщетно вопрошал я себя, – лицо, задававшее вопрос, и лицо, способное вспомнить, были, увы, одним и тем же лицом, – мною, удваивавшимся на несколько мгновений, но ничего к себе не прибавлявшим. Я спрашивал и я отвечал, – таким путем знаний у меня не прибавлялось. Я не думал больше о мадмуазель Вентейль. Рожденный новым подозрением приступ терзавшей меня ревности был тоже новым, или, вернее, он был лишь продолжением, расширением прежнего подозрения, действие оставалось тем же, только разыгрывалось оно не в Монжувене, а на той дороге, где Эме встретил Альбертину, предметом же ревности были несколько приятельниц Альбертины, одна из которых могла и сегодня сопровождать ее. Может быть, это была некая Елизавета, а может быть, те две девушки, с которыми Альбертина в казино переглядывалась в зеркале, делая вид, будто их не замечает. У нее наверно были с ними отношения, а также с Эсфирью, кузиной Блока. Если бы о подобных отношениях мне стало известно через третье лицо, это известие было бы для меня сокрушительным ударом, но так как они измышлялись мною самим, то я старался придать им возможно меньше вероятия, чтобы притупить боль.

Нам случается в форме подозрений поглощать ежедневно в огромных дозах мысль, что нас обманывают, тогда как ничтожнейшая крупица этой мысли могла бы стать смертельной, будучи введена в нас уколом разрывающего сердце слова. Должно быть, по этой причине ревнивец, руководимый инстинктом самосохранения, не колеблясь, измышляет жесточайшие подозрения насчет самых невинных фактов, при условии отрицания очевидности первого же представленного ему доказательства. Впрочем, любовь – болезнь неизлечимая, как те органические состояния, при которых ревматизм дает передышку только для того, чтобы уступить место припадочным мигреням. Едва только ревнивое подозрение успокаивалось, как я уже сердился на Альбертину за то, что она была недостаточно нежна и, может быть, насмехалась надо мной с Андре. Я с ужасом думал, какое она составит обо мне представление, если Андре перескажет ей все наши разговоры; будущее казалось мне ужасным. Терзания эти покидали меня только в тех случаях, когда какое-нибудь новое ревнивое подозрение толкало меня на новые розыски или же, напротив, избыток нежностей Альбертины делал мое счастье ничтожным. Кем могла быть та девица? Мне непременно нужно будет написать Эме, постараться увидеть его, а затем проверить его показания разговором с Альбертиной, ее исповедью. А тем временем, вообразив, что подозреваемая мной девица – кузина Блока, я попросил своего приятеля, совершенно не понявшего моих намерений, показать мне ее фотографическую карточку или, еще лучше, при случае познакомить меня с ней.

Сколько людей, городов, дорог жаждем мы узнать таким образом, терзаемые ревностью! Ревность возбуждает в нас любознательность, благодаря которой мы по отрывочным данным строим последовательно все возможные гипотезы, за исключением той, которая соответствовала бы действительности. Никогда нельзя быть уверенным, что в нас не заронит подозрения припомнившаяся вдруг неясная фраза, не без умысла установленное алиби. Мы больше не виделись со своей возлюбленной, но есть ревность задним числом, возникающая после того, как мы ушли от нее, ревность на лестнице. Быть может, выработавшаяся у меня привычка хранить в глубине сердца иные желания: желание светской барышни вроде тех, что про-

ходили мимо моего окна в сопровождении гувернанток, особенно же той, которая, по словам Сен-Лу, посещала дома свиданий; желание красивых горничных, особенно горничной г-жи Пютбюс; желание съездить в деревню в начале весны, чтобы снова увидеть боярышник, яблони в цвету, грозы; желание Венеции; желание приняться за работу; желание жить как все, – быть может, привычка сохранять в себе неутоленными все эти желания, довольствуясь обещанием осуществить их в один прекрасный день, – быть может, эта насчитывающая уже много лет привычка вечно откладывать, которую г. де Шарлюс клеймил словом «прокрастинация», стала у меня настолько всеобъемлющей, что простиралась также на мои ревнивые подозрения и, – неустанно напоминая о необходимости как-нибудь объясниться с Альбертиной по поводу девицы или девиц (эта часть рассказа потускнела, стерлась, сделалась, так сказать, непроходимой в моей памяти), с которой или с которыми встретил ее Эме, – заставляла меня отсрочивать свое объяснение. Во всяком случае, я бы не заговорил с Альбертиной на эту тему сегодня вечером, не желая подвергнуться риску показаться ей ревнивцем и рассердить ее.

Однако, когда на другой день Блок прислал мне фотографию своей кузины Эсфири, я поспешил переправить ее Эме. И в ту же минуту я вспомнил, что Альбертина отказала мне утром в наслаждении, которое действительно могло бы утомить ее. Значит, она хотела прибереечь его для кого-то другого? Сегодня днем, может быть? Для кого же?

Такова беспредельность ревности; ведь даже если любимое существо, сойдя, например, в могилу, не может больше возбуждать ее своими поступками, все же случается, что воспоминания, оставшиеся после реального события, вдруг сами начинают вести себя как реальные события, – воспоминания, которых мы не проясняли до сих пор, которые казались нам незначительными, но над которыми нам стоит только подумать, чтобы без всякого влияния со стороны внешних событий они приобрели новый и страшный смысл. Нет надобности быть вдвоем, достаточно находиться одному в своей комнате и задуматься, чтобы родились новые измены вашей любовницы, хотя бы она уже умерла. Таким образом в любви нужно страшиться не только будущего, как в обычной жизни, но также прошлого, часто приобретающего для нас реальность лишь после будущего, – мы говорим не только о прошлом, которое становится нам известно впоследствии, но и о том, которое мы давно хранили в себе и которое вдруг научаемся правильно читать.

Нужды нет – с наступлением вечера я был счастлив от сознания, что вскоре придет час, когда близость Альбертины позволит мне вкусить мир, в котором я так нуждался. К сожалению, наступивший вечер был из числа тех, когда желанный мир не приходил ко мне, когда поцелуй, который даст мне Альбертина, прощаясь со мной, совсем непохожий на ее обычный поцелуй, так же мало успокоит меня, как некогда поцелуй моей матери в дни, когда она бывала сердита и я не смел позвать ее, хотя чувствовал, что мне не удастся уснуть. Такими вечерами бывали теперь те, когда Альбертина строила на завтра какой-нибудь план, в который не желала меня посвятить. Если бы она доверила мне этот план, я содействовал бы его осуществлению с таким пылом, какого никто, кроме Альбертины, не мог бы мне внушить. Но она не говорила мне ни слова, да и не чувствовала в этом никакой потребности; едва только она входила, едва показывалась на пороге моей комнаты, не успев еще снять свою шляпу или шапочку, как я сразу замечал непонятное мне, упорное, остервенелое, неукротимое желание. И часто это случалось в те вечера, когда я ожидал ее возвращения с самыми нежными мыслями, когда собирался броситься ей на шею и расцеловать ее.

Увы, мои разлады с родными, которых я часто находил холодными или раздраженными, подбегая к ним с ласками и нежностью, – ничто по сравнению с разладами между любовниками! Страдание тогда гораздо менее поверхностно, гораздо труднее выносимо, оно гнездится в сердце на большей глубине.

В тот вечер, однако, Альбертина принуждена была сказать мне кое-что о составленном ею плане; я сразу понял, что она хочет сделать завтра визит г-же Вердюрен, визит, который сам

по себе не вызвал бы с моей стороны никаких возражений. Но, по всей вероятности, она шла туда, чтобы с кем-то встретиться, чтобы подготовить там какое-то наслаждение. Иначе она бы так не настаивала на своем визите. Я хочу сказать: она бы мне не повторяла, что нисколько на нем не настаивает. В своей жизни я прошел путь, обратный пути человечества, которое прежде, чем начать пользоваться фонетическим письмом, рассматривало письменные знаки как ряд символов; много лет искал я подлинную жизнь и подлинные мысли людей лишь в прямых выражениях этой жизни и этих мыслей, которыми они сознательно пользовались в общении со мной, – теперь же по их вине я стал, напротив, придавать значение только свидетельствам, являющимся иррациональным и суммарным выражением истины; сами по себе слова бывали для меня поучительны, лишь когда я мог их истолковать наподобие прилива крови к лицу человека, испытывающего смущение, или же наподобие внезапно наступившего молчания.

Иное наречие (например, употребленное г-ном де Камбремер: принимая меня за писателя, он еще прежде, чем заговорить со мной, обернулся ко мне во время рассказа об одном своем визите к Вердюренам и сказал: «Было *именно* что-то из Борелли»), сорвавшееся с языка в пылу разговора вследствие невольного, иногда рискованного сопоставления двух невысказанных мыслей, – иное такое словечко, из которого, пользуясь нужными методами анализа или электролиза, я мог извлечь породившие его мысли, говорило мне больше, чем длинная речь.

Альбертина тоже не раз роняла в своих речах подобные драгоценные амальгамы, которые я спешил подвергнуть обработке, чтобы преобразовать в ясные представления. Но что может быть мучительнее для влюбленного, чем сознание огромной трудности установления конкретных фактов (лишь тщательная разведка, лишь шпионаж могли бы их открыть среди стольких возможностей), когда так легко бывает прозреть истину или по крайней мере ее почуять?

В Бальбеке я часто видел, как Альбертина внезапно приковывала к проходящим мимо девушкам долгий взгляд, похожий на прикосновение, после чего, если я был с ними знаком, говорила: «А что, если их пригласить? Мне ужасно хочется наговорить им дерзостей». А спустя некоторое время, должно быть, после того как она проникла в мои мысли, – ни одной просьбы пригласить кого-нибудь, ни одного слова, даже взгляды ее ни на ком не останавливались, сделались беспредметными и молчаливыми, но в соединении с рассеянным и беспечным выражением лица были такой же ясной уликой, как когда-то уличало ее их оживление. Между тем мне нельзя было делать ей упреки и задавать вопросы по поводу вещей, которые она объявила бы не стоящими никакого внимания пустяками, сказала бы, что я останавливаюсь на них единственно из удовольствия «копаться в мелочах». Ведь если трудно бывает спросить: «почему вы посмотрели вот на эту особу», то еще труднее, конечно: «почему вы на нее не взглянули». А между тем я отлично знал почему или по крайней мере узнал бы, если бы придавал веру не столько утверждениям Альбертины, сколько различным пустякам, заключенным в ее взгляде, выданным ее взглядом или каким-нибудь противоречием в ее словах, противоречием, которое я часто замечал очень не скоро, уже расставшись с нею, от которого я страдал всю ночь, о котором не решался заговаривать, но которое тем не менее время от времени удостаивало мою память своими периодическими визитами.

Часто, наблюдая эти с виду невинные, воровские взгляды на бальбекском пляже или на парижских улицах, я задавался вопросами, уж не является ли вызвавшая их особа не просто предметом желаний, вспыхнувших, когда она проходила мимо, но давнишней знакомой Альбертины или же девицей, о которой ей много говорили, хотя меня это очень поражало, настолько девица эта стояла вне круга возможных, по мнению Альбертины, знакомств. Но нынешняя Гоморра – это головоломка, составленная из кусков, взятых там, где мы меньше всего ожидали их найти. Так, я видел однажды большой обед в Ривбеле, случайно узнав имена десятка приглашенных на него женщин: они не имели между собой решительно ничего общего, однако так идеально подошли друг к другу, что никогда не наблюдал я столь однородного, несмотря на всю пестроту его, общества.

Но возвращаясь к юным прохожим, с которыми встречалась Альбертина. На пожилых дам и на стариков никогда не смотрела она так пристально или же, напротив, так осторожно, точно она ничего не видела. Ничего не знающие обманутые мужья знают, однако, все. Но чтобы устроить сцену ревности, нужно иметь более осязательные данные. Впрочем, если ревность помогает нам открыть у любимой женщины некоторую склонность к лжи, она удесятеряет у ней эту склонность, когда женщина обнаружила, что мы ревнивы. Она лжет (в пропорциях, в каких никогда раньше не лгала) из жалости, из страха, или же инстинктивно укрываясь от нашей слежки при помощи строго соразмерных нашим усилиям уверток. Конечно, бывает любовь, когда легкомысленная женщина с самого начала представляется воплощением добродетели в глазах любящего ее человека. Но гораздо чаще в любви можно наблюдать два резко противоположных периода. В течение первого женщина говорит довольно непринужденно, лишь немного смягчая краски, о своей склонности к наслаждению, о своей «рассеянной» жизни, обусловленной этой склонностью, о всем том, что она самым энергичным образом будет отрицать тому же человеку, почувствовав, что он ее ревнует или устраивает за ней слежку. Случается, что мы сожалеем об исчезновении этой первоначальной откровенности, несмотря на то что воспоминание о ней для нас мучительно. Если бы женщина осталась такой же откровенной с нами, она почти что сама дала бы нам ключ к тайне, в которую мы тщетно пытаемся проникнуть каждый день. И какую преданность, какую доверчивость, какое дружелюбие она бы этим выказала! Если она не может жить, не обманывая, пусть по крайней мере обманывает по-дружески, рассказывая нам о своих удовольствиях, посвящая нас в них. И мы сожалеем о той жизни, которую как будто сулило начало нашей любви, но которая потом стала немыслимой, ибо любовь наша превратилась в жестокую пытку, которая, смотря по обстоятельствам, сделает разлуку или неизбежной, или невозможной.

Иногда письма, по которым я расшифровывал ложь Альбертины, не были идеографическими, их просто надо было читать наоборот; так, в тот вечер она с небрежным видом обронила мне сообщение, которое должно было остаться почти незамеченным: «Возможно, что мне придется пойти завтра к Вердюренам, право не знаю, пойду ли я, у меня нет ни малейшей охоты». Детски наивная анаграмма этого признания: «Завтра я пойду к Вердюренам, пойду во что бы то ни стало, потому что считаю этот визит крайне важным». Это притворное колебание означало твердо принятое решение и имело целью уменьшить в моих глазах важность визита, о котором мне все же было сообщено. Свои непреложные решения Альбертина всегда выражала тоном сомнения. Однако и мое решение было не менее непреложным. Я устроил так, чтобы визит к г-же Вердюрен не мог состояться. Ревность часто есть беспокойная потребность в тирании относительно вещей, касающихся любви. Я, должно быть, унаследовал от отца эти внезапные вспышки своевольного желания ставить под угрозу надежды самых любимых мною людей, показывая им обманчивость уверенности, с которой они их лелеяли; когда я видел, что Альбертина без моего ведома, тайком от меня, затеяла прогулку, которой я бы с величайшей охотой содействовал и постарался сделать как можно более приятной, если бы она посвятила меня в ее подробности, – я подчеркнуто небрежным тоном, чтобы повергнуть ее в трепет, говорил, что сам собираюсь прогуляться в тот день.

Я стал советовать Альбертине направиться в другие места, исключавшие возможность визита к Вердюренам, и слова мои пропитаны были притворным равнодушием, которым я старался замаскировать мое крайнее раздражение. Но она его разгадала. Мое раздражение индуцировало в ней электрический ток враждебной воли, резко ее отталкивавший; я видел в глазах Альбертины сверкавшие его искры. Впрочем, стоило ли мне придавать значение тому, что говорили зрачки ее в эту минуту? Как мог я не заметить до сих пор, что глаза Альбертины принадлежат к разряду тех, что даже у человека посредственного как будто сложены из нескольких кусков, число которых определяется числом мест, где их обладатель хочет находиться сегодня – тайком от вас. К разряду глаз благодаря своей лживости всегда неподвижных и пассивных,

но динамичных, измеряемых количеством метров или километров, которые нужно одолеть, чтобы оказаться на желанном свидании, свидании во что бы то ни стало, – глаз, которые не столько озаряются улыбкой при мысли об искушающем их наслаждении, сколько затуманиваются печалью или унынием, когда возникают помехи для условленного свидания. Даже заключенные в ваши объятия, такие существа ускользают от вас. Чтобы понять вызываемое ими волнение, которого другие существа, пусть даже более красивые, не вызывают, нужно учитывать, что существа эти не неподвижны, но пребывают в движении, нужно присоединить к их личности знак, соответствующий тому, что в физике обозначает скорость. Если вы расстраиваете их планы, они вам сознаются, какое удовольствие было утаено ими от вас: «Я так хотела пойти в ресторан в пять часов с особой, которую я люблю». Но если шесть месяцев спустя вы познакомитесь с названной особой, вы узнаете, что никогда девушка, планы которой вы расстроили, которая, попавши в ловушку, созналась вам, чтобы вы оставили ее в покое, будто ежедневно в час, когда вы ее не видели, она бывала в ресторане с любимой особой, – вы узнаете, что эта особа никогда не принимала вашей возлюбленной, что они никогда не бывали вместе в ресторане и что ваша возлюбленная говорила этой особе, будто все ее время занято, притом занято именно вами. Итак, особа, с которой, по ее признанию, она была в ресторане, с которой она умоляла вас оставить ее наедине, – особа эта, без всякого сомнения, была не той, она была другой; тут крылось что-то иное! Иное – но что же? Другой – но кем же?

Увы, глаза, сложенные из кусков, устремленные вдаль и печальные, позволят, пожалуй, измерить расстояния, но они не указывают направлений. Простирается бесконечное поле возможностей, и если бы случайно нам предстала действительность, она оказалась бы настолько чуждой возможностям, что у нас вдруг помутилось бы в глазах, мы наткнулись бы на выросшую перед нами стену и упали бы навзничь. Даже нет надобности констатировать движение, бегство, – достаточно о них умозаключить. Она обещала нам письмо, мы успокоились, мы больше не любим. Письмо не пришло, ни одна почта его не доставляет, воскресает тревога, а с ней любовь. Такие существа преимущественно и внушают нам любовь, на наше несчастье. Ибо каждая новая тревога, в которую они нас повергают, на наших глазах похищает кое-что из их личности. Мы покорились страданию, полагая, что предмет нашей любви вне нас, и вот мы замечаем, что наша любовь есть функция нашей печали, что наша любовь, может быть, не что иное, как наша печаль, и что предметом ее лишь в незначительной степени является черноволосая барышня. Но как раз такие люди больше всего внушают любовь.

Предметом любви очень редко бывает тело, – разве только в нем сплавлены волнение, страх его потерять, неуверенность, удастся ли нам найти его вновь. Между тем только что описанная тревога имеет большое тяготение к телу. Она украшает его качествами, затмевающими даже красоту; это одна из причин, почему иные равнодушные к красавицам мужчины страстно любят женщин, которые кажутся нам уродами. Свойства характера и наше беспокойство наделяют крыльями этих женщин, эти ускользающие существа. Даже когда они возле нас, взгляд их как будто говорит, что они вот-вот улетят. Доказательством этой красоты, превосходящей красоту, которой наделяют крылья, служит то, что часто одно и то же существо бывает для нас последовательно бескрылым и крылатым. Как только нас охватывает страх потерять его, мы забываем всех других. А будучи уверены в своей власти над ним, мы его сравниваем с другими и тотчас же ставим их выше его. Но такой страх и такая уверенность могут каждую неделю чередоваться, и бывает, что одну неделю мы жертвуем какой-нибудь женщине всем, что нам нравилось, а на следующей неделе ее самое приносим в жертву, и так в течение очень долгого времени. Это было бы непонятно, если бы мы не знали по опыту, которым обладает всякий мужчина, хоть раз в жизни разлюбивший и позабывший женщину, – как ничтожно само по себе существо, когда оно не способно больше или еще не способно пробудить в нас волнение. И разумеется, все, что мы говорим о существах ускользающих, справедливо также о существах заточенных, о пленницах, которые, по нашему убеждению, навсегда нам останутся недоступны.

Мужчины обыкновенно терпеть не могут сведень, этих пособниц бегства, разукрашивающих соблазн, но если они любят, напротив, женщину заточенную, то охотно прибегают к услугам сводни, чтобы освободить ее из темницы и привести к себе. Если связь с похищенными женщинами бывает сравнительно непродолжительна, то лишь оттого, что вся наша любовь в таких случаях сводится к боязни, что нам не удастся ими овладеть, или тревоге, как бы они не бежали; похищенные у мужей, выхваченные с подмостков своего театра жизни, вылеченные от искушения покинуть нас, словом, разобщенные с нашим волнением, каково бы оно ни было, они сказываются только собою, то есть почти что ничем, и недавно еще страстно желанные, скоро покидаются тем самым мужчиной, который смертельно боялся быть покинутым ими.

Я сказал: «Как я не догадался?» Но разве не догадался я об этом с первого же дня в Бальбеке? Разве не угадал я в Альбертине одну из девушек, под телесной оболочкой которых бьется больше скрытых существ, нежели, не говорю уже, в еще не распечатанной колоде карт, нежели в соборе или в театре перед тем, как мы туда вошли, но нежели в огромной, постоянно обновляющейся толпе. Не только множество существ, но еще и желания, сладострастные воспоминания, беспокойные поиски множества существ. В Бальбеке я не был встревожен, потому что никак не предполагал, что в один прекрасный день займусь выслеживанием, пойду даже по ложным следам. Все равно это сообщило Альбертине в моих глазах богатство, она показалась мне до дна наполненной множеством существ, множеством желаний и сладострастных воспоминаний других существ. И теперь, когда она мне сказала однажды: «Мадемуазель Вентейль», мне бы хотелось не платье с нее сорвать, чтобы увидеть ее тело, но разглядеть сквозь ее тело всю запись ее воспоминаний и назначенных на ближайшее время свиданий.

Какую необыкновенную важность приобретают вдруг вещи, вероятно, самые ничтожные, когда их от нас скрывает любимое существо (или такое, которому не хватало только этой двойственности, чтобы мы его полюбили)! Само по себе страдание не пробуждает в нас непременно любви или ненависти к причиняющему его лицу: хирург, делающий нам больно, остается для нас безразличным. Но вот женщина твердит нам в течение некоторого времени, что мы – все для нее, хотя бы сама она не была всем для нас, – женщина, которую мы с удовольствием видим, целуем, держим у себя на коленях, – как же мы бываем удивлены, если по внезапному ее сопротивлению узнаем, что мы над ней не властны. Горькое это открытие пробуждает иногда в нас давно забытую тоску, которая, однако, вызвана была не этой женщиной, а другими, чьи измены вереницей уходят в наше прошлое; да и откуда взять мужество, чтобы желать жить, как найти в себе силы, чтобы оборониться от смерти, в мире, где любовь вызывается только ложью и целиком сводится к потребности в успокоении наших страданий существом, которое нам их причинило? Чтобы освободиться от подавленности, которую мы испытываем, открывая эту ложь и это сопротивление, есть грустное средство попытаться воздействовать на ту, что противится и лжет нам, наперекор ее желаниям, с помощью существ больше нас вхожих в ее жизнь, попытаться самим пуститься на хитрости, внушить к себе отвращение. Но страдание от такой любви принадлежит к числу тех, что неодолимо увлекают больного искать обманчивого облегчения в перемене положения.

В нашем распоряжении есть, увы, сколько угодно подобных способов действия! Ужас такой любви, порожденной одной лишь тревогой, проистекает от того, что, сидя в своей клетке, мы беспрестанно переворачиваем на все лады самые незначительные фразы; не говоря уже о том, что лица, являющиеся ее предметом, редко нравятся нам физически во всех отношениях, ибо выбор наш определяется не свободным влечением, но случайной минутой тоски, минутой, бесконечно продолжаемой слабостью нашего характера, которая каждый вечер заставляет нас повторять опыты и прибегать к болеутоляющим средствам.

Конечно, любовь моя к Альбертине не обходилась без применения таких средств, до которых можно опуститься по слабоволию, ибо она не была чисто платонической; моя любовница доставляла мне плотские наслаждения и кроме того она была умна. Но все это было несущ-

щественно. Меня занимало не то, что она могла сказать умного, но какое-нибудь словечко, пробуждавшее сомнение насчет ее поступков; я пытался вспомнить, сказала ли она то-то и то-то, с каким видом, при каких обстоятельствах, в ответ на какие мои слова, – восстановить всю сцену ее разговора со мной, когда она пожелала идти к Вердюренам, какое мое замечание вызвало на лице ее досаду. Дело касалось страшно важного события, для точного восстановления которого, для воспроизведения подлинной его атмосферы и окраски я не пожалел бы никакого труда. Конечно, случается иногда, что такие тревоги, достигнув невыносимого напряжения, совершенно утихают на целый вечер. В течение нескольких дней ломали мы голову, разгадывая, что это за праздник, на который должна отправиться наша возлюбленная, – но вот мы сами тоже получаем приглашение, наша подруга занята там только нами, обращается только к нам, мы провожаем ее домой, тревоги наши рассеиваются, и мы вкушаем тот полный, целительный покой, какой приносит иногда глубокий сон после долгой ходьбы пешком. За такой покой стоит, конечно, заплатить дорого. Но не проще ли было бы нам воздержаться от покупки тревоги по еще более дорогой цене? Впрочем, мы отлично знаем, что, как бы ни были глубоки эти мимолетные успокоения, тревога все-таки возьмет над ними верх. Иногда ее возобновляет фраза, имевшая целью принести нам покой. Но чаще всего мы от одной тревоги переходим к другой. Одно из слов фразы, предназначавшейся для нашего успокоения, направляет наши подозрения по другому пути. Ревность наша более требовательна и доверчивость ослеплена в большей степени, чем могла предполагать любимая нами женщина.

Когда она ни с того ни с сего клянется нам, что такой-то мужчина для нее только друг, нас потрясает известие, что он ее друг, – мы об этом не подозревали. Когда для доказательства своей искренности она нам рассказывает, как они несколько часов тому назад пили вместе чай, с каждым ее словом невидимое, неподозреваемое облекается для нас формой. Она признается, что спутник просил ее стать его любовницей, и мы жестоко мучимся, что она могла слушать его предложения. Они были ею отвергнуты, заявляет она. Но вскоре, вспоминая ее рассказ, мы будем спрашивать себя, да точно ли правдив этот рассказ, ибо между различными его частями заметно отсутствие той необходимой логической связи, которая в большей степени, чем рассказанные факты, является свидетельством истины. Кроме того, слова: «Я сказала ему нет, категорически», – были ею произнесены тем ужасным презрительным тоном, какой находят женщины всех общественных классов, когда они лгут. Нам нужно все же поблагодарить нашу подругу за ее отказ, поощрить ее своей добротой к новым столь же жестоким признаниям в будущем. Самое большее, мы решаемся заметить: «Но если он сделал вам такое предложение, зачем согласились вы пить чай с ним?» – «Чтобы он на меня не рассердился и не сказал, что я была не любезна». И у нас не хватает смелости ответить, что, отказав, она была бы, может быть, более любезна по отношению к нам.

Вдобавок Альбертина пугала меня заявлениями, что я прав, не возводя на нее напраслины, не утверждая, что я ее любовник, «ибо ведь», – прибавляла она, – «вы и в самом деле не любовник». Пожалуй, я действительно не был им вполне, но в таком случае уж не проделывала ли она все, что мы делали с ней вместе также и с теми мужчинами, которые, по клятвенным ее уверениям, никогда не были ее любовниками? Желание узнать какой угодно ценой, что Альбертина думает, кого видит, кого любит, – как странно было, что я всем бы пожертвовал для удовлетворения этой потребности, ведь и относительно Жильберты я чувствовал такую же потребность знать собственные имена и факты, которые стали для меня теперь так безразличны. Я отлично сознавал, что поступки Альбертины сами по себе ничуть не интереснее. Любопытно, что первая любовь, хотя и прокладывает дорогу для последующих увлечений благодаря неспособности, в которой она оставляет наше сердце, она нам не дает однако – несмотря на тождество симптомов и страданий – никаких целительных средств.

Впрочем, есть ли надобность знать факты? Разве не знаем мы заранее, как распространены среди женщин лживость и сдержанность, когда у них есть что скрывать? Существует ли

тут возможность ошибки? Они вменяют себе в заслугу молчание, между тем как нам так хотелось бы заставить их говорить. И мы чувствуем, как они заверили своего сообщника: «Я никогда ни о чем не болтаю. Если что-нибудь станет известно, то не от меня, я никогда ни о чем не болтаю». Мы отдаем свое состояние, свою жизнь ради женщины, и, однако, хорошо знаем, что через каких-нибудь десять лет, немного меньше или немного больше, мы отказали бы этой женщине в материальных жертвах и предпочли бы сохранить свою жизнь. Потому что тогда эта женщина будет оторвана от нас, будет одна, то есть будет представлять собой ничто. Тысяча корней, несчетные нити, каковыми являются воспоминания о вчерашнем вечере, надежды на завтрашнее утро, сплошная сеть привычек, от которых мы не в силах отделаться, – вот что привязывает нас к другим людям. Подобно тому, как есть скупые, которые копят от щедрости, мы расточительствуем от скупости, и мы жертвуем нашей жизнью не столько определенной личности, сколько всему, что ей удалось привязать к себе из наших часов, из наших дней, из того, по сравнению с чем жизнь еще не прожитая, жизнь будущая кажется нам жизнью более далекой, более обособленной, менее пригодной, менее нашей. Нам бы следовало прежде всего освободиться от этих оков, обладающих гораздо большей важностью, чем личность женщины, но они постепенно создают в нас минутные обязанности по отношению к ней, обязанности, благодаря которым мы не решаемся покинуть ее, боясь, как бы она нас не осудила, между тем как спустя некоторое время мы найдем в себе решимость, ибо, отделенная от нас, она не будет больше нами, мы же создаем обязанности (хотя бы даже, в силу кажущегося противоречия, они приводили к самоубийству) лишь по отношению к самим себе. Хотя я не любил Альбертины (в чем я, впрочем, не был уверен), однако место, занимаемое ею подле меня, было вполне естественным: мы живем только с тем, чего мы не любим, что мы заставили жить с собой только для того, чтобы убить невыносимую любовь, идет ли речь о женщине, о местности или же о женщине, вмещающей в себя местность. Мы боимся даже, как бы не воскресла любовь, если вновь наступит разлука. Я не достиг еще этой точки в отношениях с Альбертиной. Ее лживость, ее признания предоставляли мне самому заниматься выяснением истины: ее лживость на каждом шагу, потому что она не довольствовалась той ложью, к которой прибегает всякая женщина, считающая себя любимой, но была еще и по природе лживой, да вдобавок еще столь изменчивой, что, даже говоря мне иногда правду, высказывая, например, свои мысли о людях, она говорила каждый раз иное; а ее признания были настолько редкими и так внезапно обрывались, что оставляли между собой, поскольку касались прошлого, огромные пробелы, все пространство которых мне нужно было заполнить картиной ее жизни, для чего сначала нужно было ее узнать.

Что касается настоящего, то, поскольку я способен был правильно истолковывать сивилины слова Франсуазы, ложь Альбертины не ограничивалась отдельными частностями, а простиралась на все, и «в один прекрасный день я увижу все», что будто бы знала Франсуаза, но чего не хотела мне говорить, а я не решался у нее спросить. Впрочем, по-видимому, в силу той же ревности, какую она питала когда-то к Евлалии, Франсуаза говорила неправдоподобнейшие вещи, до такой степени туманные, что в них самое большее можно было разобрать совершенно нелепое предположение, будто бедная пленница (которая любила женщин) предпочитает выйти замуж за кого-то, кто, по-видимому, ни в малейшей степени не являлся мной. Если бы это было, то, несмотря на свою радиотелепатию, как бы Франсуаза об этом узнала? Конечно, рассказы Альбертины ни в каком случае не могли утвердить меня в таком предположении, ибо каждый день они были так же переменчивы, как цвета почти остановившегося волчка. К тому же было достаточно очевидно, что слова Франсуазы были внушены моей дуэнье ненавистью. Дня не проходило без того, чтобы она не произносила передо мной и я не сносил в отсутствие моей матери речей в таком роде:

– Понятно, вы любезны, и век не забуду, сколько я вам обязана (говорилось это, вероятно, с той целью, чтобы я заслужил право на ее благодарность), а только дом зачумлен с тех пор, как

любезность водворила здесь плутовство и ум покровительствует отъявленной дуре, какая когда-либо была видана, – с тех пор как тонкость, манеры, остроумие, достоинство во всем, наружность и душа принца позволили пороку, самой последней низости и пошлости вводить законы, плести козни и помыкать мной, уже сорок лет живущей у вас в доме.

Франсуаза особенно негодовала на Альбертину за то, что ей отдавала приказания особа, не принадлежащая к нашему семейству, за увеличение работы по хозяйству, за утомление, подрывавшее здоровье нашей старой служанки, которая тем не менее ни за что не хотела, чтобы ей дали помощницу, как «ни на что больше негодной» старухе. Все это достаточно объясняло ее нервное возбуждение, ее гнев и негодование. Конечно, ей хотелось, чтобы Альбертина – Эсфирь была изгнана. Это было заветное желание Франсуазы. Исполнение его успокоило бы нашу старую служанку. Но, по-моему, дело было не только в этом. Такая ненависть могла родиться только в надорвавшемся теле. Еще больше, чем в уважении, Франсуаза нуждалась в сне.

Альбертина пошла переодеваться, и, чтобы поскорее собрать сведения, я попробовал позвонить Андре; я схватил трубку, вызвал неумолимых богинь, но только их разгневал, услышав в ответ: «Занято». Андре, действительно, с кем-то разговаривала. В ожидании, когда она кончит, я задался вопросом, почему в настоящее время, когда столько художников пытается возродить женские портреты XVIII века, на которых искусная инсценировка служит предлогом для выражения ожидания, досады, любопытства, мечтательности, – почему ни один из современных Буше или Фрагонаров не напишет вместо «письма» или «клавесина» и т. п. сцены, которую можно бы было назвать: «У телефона» и где на губах слушающей невольно рождалась бы улыбка, тем более естественная, что ее никто не видит. Наконец, Андре меня услышала: «Вы заедете за Альбертиной завтра?» – и, произнося имя «Альбертина», я вспомнил о зависти, возбужденной во мне Сваном, когда он сказал однажды на вечере у принцессы Германтской: «Приходите повидать Одетту», и о том, как я подумал, сколько все же силы в женском имени, которое в глазах всего света и самой Одетты звучало как символ безусловного обладания, только когда его произносил Сван.

Каким должно быть сладким такое – вмещенное в одно слово – обладание целой жизнью женщины, думал я каждый раз, когда бывал влюблен! Но в действительности, когда мы получаем право произносить это слово, оно либо стало нам безразлично, либо, если привычка не притупила нежности, она превратила приятность его в боль. Ложь – пустяки, мы живем посреди нее, улыбаясь ей; мы прибегаем к ней, вовсе не думая причинить кому-нибудь зло, но ревность страдает от нее и усматривает в ней больше, чем она таит на самом деле (часто подруга наша отказывается провести вечер с нами и идет в театр просто для того, чтобы мы не видали ее кислой мины). Как часто ревность остается слепой к тому, что таит правда! Но она ничего не может добиться, ибо женщины, дающие клятву не лгать, отказались бы даже под ножом, приставленным к горлу, чистосердечно признаться, какова их натура. Я знал, что один только я имел право произносить таким тоном имя «Альбертина», обращаясь к Андре. Однако я чувствовал, что и для Альбертины, и для Андре, и для себя самого я был ничто. И я понимал, в каком тупике мечется любовь.

Мы воображаем, будто ее предметом является определенное существо, заключенное в определенном теле, которое может быть положено перед нами. Увы! Она простирается на все пункты пространства и времени, которые занимала и будет занимать любимая женщина. Если мы не обладаем ее соприкосновением с таким-то местом, с таким-то часом, мы ею не обладаем. А мы не в состоянии коснуться всех этих пунктов. Добро, если бы они были нам указаны, мы бы, пожалуй, могли дотянуться до них. Но мы блуждаем в потемках, не находя их. Отсюда недоверие, ревность, преследования. Мы теряем драгоценное время на поиски по ложному следу и проходим возле истины, не подозревая об этом.

Но уже одна из гневных богинь с быстрыми, как вихрь, прислужницами сердилась не на то, что я говорю, а, напротив, – на то, что я ничего не говорю. «Послушайте, абонент, свободно; сколько уж времени как я соединила; я вас разъединяю». Однако она не исполнила своей угрозы и, вызывая появление Андре, окутала ее с большим поэтическим мастерством, всегда присущим телефонным барышням, особенной атмосферой, насыщавшей жилище, квартал, самую жизнь подруги Альбертины. «Это вы?» – спросила Андре, голос которой моментально был переброшен ко мне богиней, обладающей даром передавать звуки с быстротой молнии. «Слушайте, – отвечал я, – идите, куда хотите, все равно куда, только не к г-же Вердюрен. Нужно во что бы то ни стало удержать завтра Альбертину подальше от нее». – «Но как раз завтра она должна там быть». – «А-а!»

Но мне пришлось на минуту прервать разговор и сделать ряд угрожающих жестов, ибо если Франсуаза по-прежнему не желала, – точно это была такая же неприятная вещь, как прививка оспы, или такая же опасная, как полет на аэроплане, – научиться говорить по телефону, что избавило бы нас от сообщений, в которые она свободно могла быть посвящена, – зато она немедленно входила ко мне, когда я начинал сколько-нибудь секретный разговор, который я считал нужным скрывать от нее. Когда она вышла из комнаты, порядочно замешкавшись за уборкой различных предметов, которые стояли там со вчерашнего дня и могли преспокойно простоять еще час, и за растопкой совсем ненужного камина, так как меня и без того бросало в жар от присутствия непрошеной посетительницы и от страха, как бы барышня не разъединила меня: «Извините, пожалуйста, – сказал я Андре, – мне помешали. Это, безусловно, верно, что она должна пойти завтра к Вердюренам?» – «Безусловно, но я могу ей сказать, что вам это неприятно». – «Нет, напротив, возможно даже, что я сам пойду с вами». – «А-а!» – протянула Андре очень раздосадованным тоном, как бы испугавшись моей решимости, которая, впрочем, от этого только укрепилась. «Ну, я покидаю вас; простите, что побеспокоил из-за пустяков». – «Помилуйте, – отвечала Андре и (так как теперь, когда пользование телефоном стало всеобщим, телефонный разговор принято сопровождать особенными учтивыми фразами, как в прежние времена разговор за «чаем») прибавила: – Мне было очень приятно услышать ваш голос».

Я тоже мог бы это сказать, и был бы более правдив, чем Андре, ибо с изумительной тонкостью воспринял ее голос, впервые обратив внимание, насколько он был отличен от других голосов. И я припомнил эти голоса, преимущественно женские, одни – замедленные точностью вопроса и внимательностью, другие – задушевные, прерываемые лирической волной того, о чем они рассказывают, я припомнил один за другим голоса всех девушек, с которыми я познакомился в Бальбеке, потом голос Жильберты, голос бабушки, голос герцогини Германтской, я нашел всех их непохожими, отлитыми каждый на свой образец, играющими на разных инструментах, и я подумал, каким должен показаться жиденьким концерт, даваемый в раю тремя или четырьмя ангелами-музыкантами старых мастеров, по сравнению со стройным, многозвучным гимном всех этих голосов, которые десятками, сотнями, тысячами возносились к Богу. Оставляя телефон, я не забыл поблагодарить в нескольких умиловительных словах ту, что властвовала над скоростью звуков, за любезность, с которой она предоставила к услугам моих ничтожных слов силу, передававшую их в сто раз скорее грома, но ответом на мою благодарность было только разъединение с Андре.

Когда Альбертина вернулась в мою комнату, на ней было черное шелковое платье, которое придавало ей большую бледность, обращало в бескровную, пылкую парижанку, обесцвеченную недостатком воздуха, атмосферой толпы и, может быть, привычкой к пороку; не оживляемые румянцем щек, глаза ее казались более беспокойными.

– «Угадайте, – обратился я к ней, – с кем я только что разговаривал по телефону? С Андре». – «С Андре? – воскликнула Альбертина удивленным и взволнованным тоном, совсем не вязавшимся с таким простым известием. – Надеюсь, она не забыла рассказать вам, как мы

встретились на днях с г-жой Вердюрен». – «С г-жой Вердюрен? Не припоминаю», – ответил я с таким видом, точно думал о чем-то другом, чтобы проявить равнодушие к этой встрече и в то же время не выдать Андре, сказавшей мне, куда Альбертина собиралась пойти завтра.

Но, кто знает, не предавала ли меня сама Андре и не расскажет ли она завтра Альбертине, что я просил во что бы то ни стало помешать ей пойти к Вердюренам, – не открыла ли уже Андре, что я не раз делал ей аналогичные наставления? Андре уверяла меня, что ни разу никому о них не обмолвилась, но значение ее слов ослаблялось в моем уме впечатлением, что с некоторых пор на лице Альбертины пропало доверие, которое она так долго ко мне питала.

Любопытно, что за несколько дней до этого пререкания с Альбертиной я уже раз с ней поспорил, но в присутствии Андре. Однако, давая добрые советы Альбертине, Андре всегда имела такой вид, точно внушала ей что-то дурное. «Послушай, не говори так, замолчи», – говорила она, словно наверху блаженства. Лицо ее покрывалось сухой малиновой краской набожной экономки, рассчитывающей одного за другим всех слуг. Пока я обращался к Альбертине с упреками, которых мне не следовало делать, у нее бывал такой вид, точно она с наслаждением сосет леденец. Потом она не могла больше сдерживать мягкого смеха. «Пойдем, Титина, со мной. Ты ведь знаешь, что я твоя нежно любящая сестренка». Я не только бывал раздражен этим приторным воркованием, но даже задавался вопросом, действительно ли Андре чувствовала к Альбертине приязнь, которую она так старательно изображала. Но Альбертина, знавшая Андре гораздо больше, чем я, всегда пожимала плечами, когда я спрашивал ее, вполне ли она уверена в дружеском расположении Андре, и неизменно отвечала, что никто на земле ее так не любит, отчего и теперь еще я убежден, что привязанность Андре была неподдельной. Может быть, в ее богатой, но провинциальной семье эквивалент этих чувств нашелся бы в тех лавках на Епископской площади, где некоторые сладости считаются «что ни на есть лучшим». Но не знаю, почему, несмотря на все доводы в пользу обратного мнения, у меня всегда бывало впечатление, что Андре хочет сделать неприятность Альбертине, и моя подруга тотчас становилась мне симпатичной, а гнев утихал.

Страдание в любви по временам проходит, но лишь для того, чтобы возобновиться в другом виде. Мы плачем, не замечая больше у любимой женщины той любовной предупредительности, тех порывов симпатии, на которые она была так щедра вначале, и еще больше мучимся оттого, что, утратив их для нас, она их находит для других; затем от этого мучения нас отвлекает другая, еще худшая беда: подозрение, что она нам солгала о вчерашнем вечере, на котором наверно нас обманывала; это подозрение в свою очередь рассеивается, любезность нашей подруги нас успокаивает, но тут нам приходят на память какие-нибудь забытые слова; нам сказали, что она с жаром предается наслаждению, между тем как мы знаем ее только спокойной; мы пытаемся представить себе то, чем были эти неистовства с другими, чувствуем, как мало мы для нее значили, замечаем выражение скуки, тоски, грусти во время нашего разговора, глядим, как на мрачный небосклон, на заброшенные платья, которые она надевает, когда находится с нами, сохраняя для других те, которыми она прельщала нас в начале. Если, напротив, она нежна, какая это для нас радость, увы, мимолетная! Но, видя ее призывно высунутый язычок, мы думаем о тех, к кому этот призыв так часто бывал обращен, и, может быть, даже в моем присутствии, когда Альбертина вовсе о них не думала, остался у нее, в силу слишком долгой привычки, машинальным знаком. Потом чувство, что ей скучно с нами, возвращается. Но вдруг это мучение кажется пустяком, когда мы думаем о пагубной неизвестности ее жизни, о недоступных местах, где она бывала да, может, и теперь еще бывает в часы, когда нас нет с нею, если только не замышляет поселиться там окончательно, – местах, где она кажется далекой, не нашей, более счастливой, чем с нами. Таковы вертящиеся огни ревности.

Ревность является также бесом, который не поддается заклятию и вечно возвращается воплощенным в новую форму. А если бы нам удалось истребить их все и навеки сохранить

ту, кого мы любим, Дух Зла принял бы тогда другое обличие, еще более волнующее, обличие отчаяния, что мы добились верности только силой, отчаяния, что нас не любят.

Между Альбертиной и мной часто возникала глухая стена молчания, складывавшаяся, очевидно, из провинностей, которые она скрывала, потому что считала непоправимыми. Как ни ласкова бывала Альбертина в иные вечера, она не совершала больше тех безотчетных движений, какие я знал у нее в Бальбеке, когда она мне говорила: «Как вы все же милы!» – и как будто от всего сердца подходила ко мне, не утаивая проделок, которые теперь водились за ней и о которых она умалчивала, наверно считая, что они непоправимы, не поддаются забвению и сознаться в них невозможно, тем не менее они воздвигали между нами непроницаемую преграду из осмотрительных ее слов или же непереходимую пропасть молчания.

«А можно узнать, зачем вы звонили Андре?» – «Чтобы спросить у нее, не будет ли ей неприятно, если я завтра к вам присоединюсь и сделаю наконец визит Вердюренам, обещанный мной еще в Распельере». – «Как вам угодно. Но предупреждаю вас, что сегодня вечером страшный туман, который простоит, наверно, и завтра. Говорю об этом, потому что боюсь, как бы вам не сделалось худо. Вы ведь знаете, мне всегда хочется, чтобы вы выходили с нами. Впрочем, – прибавила она с озабоченным видом, – я еще не знаю, пойду ли я к Вердюренам. Они сделали мне столько одолжений, что, в сущности, мне бы следовало... После вас они были наиболее благожелательны ко мне, но некоторые мелочи у них мне не нравятся. Мне обязательно нужно сходить в Бон-Марше и Труа-Картье купить белую шемизетку, потому что это платье слишком темное».

Позволить Альбертине пойти одной в большой магазин, где всегда толкотня и столько выходов, что, покидая его, невозможно найти свой экипаж, ожидавший у другого подъезда, – нет, я твердо решил не давать ей на это согласия, но каким я чувствовал себя несчастным! И все же я не отдавал себе отчета, что мне давно следует прекратить отношения с Альбертиной, ибо моя любовь к ней вступила в тот плачевный период, когда существо, рассеянное в пространстве и времени, для нас больше не женщина, но ряд событий, на которые мы не способны пролить свет, ряд неразрешимых задач, море, которое мы, подобно Ксерксу, на смех людям, пробуем высечь в наказание за то, что оно поглотило наше сокровище. Раз этот период начался, мы неизбежно терпим поражение. Счастлив, кто это вовремя понял и не затягивает понапрасну изнурительной, стесненной воображением борьбы, когда ревность ведет себя так постыдно, что человек, воображавший когда-то интригу, чувствовавший мильон терзаний, если взгляды женщины, всегда находившейся подле него, устремлялись порой на другого, – этот самый человек под конец покоряется, отпускает ее одну, иногда даже с заведомым ее любовником, соглашаясь принять эту по крайней мере ясно сознаваемую пытку, лишь бы не мучиться неизвестностью! Тут вопрос выработанного ритма, которому мы потом следуем по привычке. Люди нервные не могли бы пропустить обед, впоследствии же предаются покою, сколь угодно продолжительному; недавно еще легкомысленные женщины живут раскаянием. Ревнивы, которые жертвовали своим сном, покоем, чтобы следить за каждым шагом любимой женщины, чувствуют мало-помалу, что ее интимные желания, этот столь необъятный и таинственный мир, наконец, время – сильнее их, они ей позволяют выходить одной, потом отпускают путешествовать, потом разлучаются. Ревность кончается таким образом за отсутствием пищи, и длилась она столько времени лишь потому, что мы беспрестанно искали этой пищи. Мне было еще очень далеко до такого конца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.